



ОДЕССКАЯ
АНТОЛОГИЯ

— II —

Этот город величавый был написан, как сонет

CF FOLIO

АНТОЛОГИЯ

**Одесская антология в 2-х томах.
Том 2. Этот город величавый
был написан, как сонет... XX век**

«ОМІКО»

2019

УДК 821.161(477.74)+821.161.2

Антология

Одесская антология в 2-х томах. Том 2. Этот город величавый был написан, как сонет... XX век / Антология — «ОМІКО», 2019

Во второй том «Одесской антологии» вошли произведения, написанные в Одессе или об Одессе, которые увидели свет в XX веке, когда существование феномена под названием «одесская литература» уже не отрицали даже представители классического литературоведения. Это стало невозможным после «Одесских рассказов» И. Бабеля, произведений Э. Багрицкого, И. Ильфа и Е. Петрова, В. Катаева. Эти авторы конечно же представлены в нашем издании. А еще читатель найдет в нем прозу А. Куприна и И. Бунина, А. Аверченко и А. Козачинского, поэзию Леси Украинки и Павла Тычины, Саши Черного и С. Кирсанова, Б. Чичибабина и Б. Херсонского и других, беззаветно влюбившихся в этот город и увековечивших его своим талантом. Изюминкой второго тома «Одесской антологии» являются произведения авторов, когда-то живших в Одессе и популярных в этом городе, но мало известных широкому кругу читателей, таких как Влас Дорошевич, Маноля, Незнакомец (Борис Флит), которого называли «достопримечательностью старой Одессы». И, безусловно, невозможно представить «Одесскую антологию» без произведений Михаила Жванецкого. Они завершают наше издание.

УДК 821.161(477.74)+821.161.2

© Антология, 2019

© ОМІКО, 2019

Содержание

I. Одесса	7
Исаак Бабель	7
Одесса	9
Петр Пильский	12
Лики городов	13
Аркадий Аверченко	16
Одесса	17
II. Одесский язык	22
Влас Дорошевич	22
Одесский язык	23
Маноля	29
Об одесском языке	29
Александр Биск	31
Одесский язык	32
III. Одесское...	34
Аркадий Аверченко	34
Одесское дело	34
Незнакомец	39
Одесский театрал	40
Одесские «Театралы»	41
Александр Биск	42
Одесская Литературка	42
IV. Акация	48
Александр Куприн	48
Белая акация	50
Владимир Жаботинский	53
Акация	54
V. Начало века	57
Владимир Жаботинский	57
Пятеро	58
Дон Аминадо	67
Поезд на третьем пути	68
Богдан Комаров	78
Мої університети	79
Борис Житков	86
Виктор Вавич	87
Руки	93
Мамиканян	96
Валентин Катаев	98
Разбитая жизнь, или волшебный рог Оберона	99
Яков Бельский	107
Американское наследство	108
Аркадий Аверченко	111
Костя Зиберов	111
Незнакомец	117
Веселая прогулка	117

Александр Куприн	120
Обида	120
Конец ознакомительного фрагмента.	128

Антология
Одесская антология в 2-х томах.
Том 2. Этот город величавый
был написан, как сонет... XX век

© А. А. Мисюк, Е. Л. Яворская, составление, 2019

© В. Н. Карасик, художественное оформление, 2019

I. Одесса

Исаак Бабель
(1894–1940)



Писатель, чей талант обеспечил Одессе половину ее литературной славы, родился в Одессе, здесь начал свою литературную деятельность. Стиль Бабеля экспрессивен, его художественный мир бесстрашно парадоксален. Писатель был арестован весной 1939-го и расстрелян зимой 1940 г. Обвинения банальные – шпионаж, заговор, террор... В 1955 г. Бабель был реабилитирован, но книги возвращались к читателю очень медленно и скупо. По сути, Бабель

шепотом постоянно признавался «несоветским». В родном городе произведения И. Бабея были впервые изданы отдельной книгой в 1998 г.

Одесса

Одесса очень скверный город. Это всем известно. Вместо «большая разница» там говорят – «две большие разницы» и еще: «тудою и судою». Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом значительном и очаровательнейшем городе в Российской Империи. Подумайте – город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Половину населения его составляют евреи, а евреи – это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими, любят для того, чтобы жить в веках, копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты, чадолюбивы потому, что это же очень хорошо и нужно – любить своих детей. Бедных евреев из Одессы очень путают губернаторы и циркуляры, но сбить их с позиции нелегко, очень уж стародавняя позиция. Их и не собьют и многому от них научатся. В значительной степени их усилиями создавалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу.

Одессит – противоположен петроградцу. Становится аксиомой, что одесситы хорошо устраиваются в Петрограде. Они зарабатывают деньги. Потому что они брюнеты – в них влюбляются мягкотелые и блондинистые дамы. И вообще – одессит в Петрограде имеет тенденцию селиться на Каменноостровском проспекте. Скажут, это пахнет анекдотом. Нет-с. Дело касается вещей, лежащих глубже. Просто эти брюнеты приносят с собой немного солнца и легкости.

Кроме джентльменов, приносящих немного солнца и много сардин в оригинальной упаковке, думается мне, что должно прийти, и скоро, плодотворное, животворящее влияние русского юга, русской Одессы, может быть (*qui sait?*¹), единственного в России города, где может родиться так нужный нам, наш национальный Мопассан. Я вижу даже маленьких, совсем маленьких змеек, предвещающих грядущее, – одесских певиц (я говорю об Изе Кремер) с небольшим голосом, но с радостью, художественно выраженной радостью в их существовании, с задором, легкостью и очаровательным – то грустным, то трогательным – чувством жизни; хорошей, скверной и необыкновенно – *quand meme et malgre tout*² – интересной.

Я видел Уточкина, одессита *pur sang*³, беззаботного и глубокого, бесстрашного и обдумчивого, изящного и длиннорукого, блестящего и заику. Его заел кокаин или морфий, заел, говорят, после того, как он упал с самолета где-то в болотах Новгородской губернии. Бедный Уточкин, он сошел с ума, но мне все же ясно, что скоро настанет время, когда Новгородская губерния пешочком придет в Одессу.

Раньше всего в этом городе есть просто материальные условия для того, например, чтобы взрастить мопассановский талант. Летом в его купальнях блестят на солнце мускулистые бронзовые фигуры юношей, занимающихся спортом, мощные тела рыбаков, не занимающихся спортом, жирные, толстопузые и добродушные тела «негоциантов», прыщавые и тощие фантазеры, изобретатели и маклера. А поодаль от широкого моря дымят фабрики и делают свое обычное дело Карл Маркс.

В Одессе очень бедное, многочисленное и страдающее еврейское гетто, очень самодовольная буржуазия и очень черносотенная городская дума.

В Одессе сладостные и томительные весенние вечера, пряный аромат акаций и исполненная ровного и неотразимого света луна над темным морем.

¹ Кто знает? (*фр.*)

² Все же и несмотря ни на что (*фр.*)

³ Чистокровный (*фр.*)

В Одессе, по вечерам, на смешных и мешанских дачках, под темным и бархатным небом, лежат на кушетках толстые и смешные буржуа в белых носках и переваривают сытный ужин... За кустами их напудренных, разжиревших от безделья и наивно зятянутых жен пламенно тискают темпераментные медики и юристы.

В Одессе «люди воздуха» рыщут вокруг кофеен для того, чтобы заработать целковый и накормить семью, но заработать-то не на чем, да и за что дать заработать бесполезному человеку – «человеку воздуха»?

В Одессе есть порт, а в порту – пароходы, пришедшие из Ньюкастля, Кардифа, Марселя и Порт-Саида; негры, англичане, французы и американцы. Одесса знала времена расцвета, знает времена увядания – поэтичного, чуть-чуть беззаботного и очень беспомощного увядания.

«Одесса, – в конце концов скажет читатель, – такой же город, как и все города, и просто вы неумеренно пристрастны».

Так-то так, и пристрастен я, действительно, и может быть, намеренно, но, parole d'honneur⁴, в нем что-то есть. И это что-то подслушает настоящий человек и скажет, что жизнь печальна, однообразна – все это верно, – но все же, quand meme et malgre tout⁵ необыкновенно, необыкновенно интересна.

От рассуждений об Одессе моя мысль обращается к более глубоким вещам. Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего радостного, ясного описания солнца?

Тургенев воспел росистое утро, покой ночи. У Достоевского можно почувствовать неровную и серую мостовую, по которой Карамзов идет к трактиру, таинственный и тяжелый туман Петербурга. Серые дороги и покров тумана придушили людей, придушивши – забавно и ужасно исковеркали, породили чад и смрад страстей, заставили метаться в столь обычной человеческой суеде. Помните ли вы плодородящее яркое солнце у Гоголя, человека, пришедшего из Украины? Если такие описания есть – то они эпизод. Но не эпизод – Нос, Шинель, Портрет и Записки Сумасшедшего. Петербург победил Полтавщину, Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властностью затер Грицко, а отец Матвей кончил дело, начатое Тарасом. Первым человеком, заговорившим в русской книге о солнце, заговорившим восторженно и страстно, – был Горький. Но именно потому, что он говорит восторженно и страстно, это еще не совсем настоящее.

Горький – предтеча и самый сильный в наше время. Но он не певец солнца, а глашатай истины: если о чем-нибудь стоит петь, то знайте: это о солнце. В любви Горького к солнцу есть что-то от головы; только огромным своим талантом преодолевает он это препятствие.

Он любит солнце потому, что на Руси гнило и извилисто, потому что и в Нижнем, и в Пскове, и в Казани люди рыхлы, тяжелы, то непонятны, то трогательны, то безмерно и до одури надоедливы. Горький знает – почему он любит солнце, почему его следует любить. В сознательности этой и заключается причина того, что Горький – предтеча, часто великолепный и могучий, но предтеча.

А вот Мопассан, может быть, ничего не знает, а может быть – все знает; громыкает по сожженной зноем дороге дилижанс, сидят в нем, в дилижансе, толстый и лукавый парень Полит и здоровая крестьянская топорная девка. Что они там делают и почему делают – это уж их дело. Небу жарко, земле жарко. С Полита и с девки льет пот, а дилижанс громыкает по сожженной светлым зноем дороге. Вот и все.

В последнее время приохотились писать о том, как живут, любят, убивают и избирают в волостные старшины в Олонецкой, Вологодской или, скажем, в Архангельской губернии. Пишут всё это самым подлинным языком, точка в точку так, как говорят в Олонецкой и Воло-

⁴ Честное слово (*фр.*)

⁵ Все же и несмотря ни на что (*фр.*)

годской губерниях. Живут там, оказывается, холодно, дикости много. Старая история. И скоро об этой старой истории надоест читать. Да и уже надоело. И думается мне: потянутся русские люди на юг, к морю и солнцу. Потянутся – это, впрочем, ошибка. Тянутся уже много столетий. В неистребимом стремлении к степям, даже м[ожет] б[ыть] «к кресту на Святой Софии» таятся важнейшие пути для России.

Чувствуют – надо освежить кровь. Становится душно. Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда – из солнечных степей, обтекаемых морем.

1916

Петр Пильский
(1879–1941)



Журналист, критик, писатель, основатель и директор Первой Всероссийской школы журналистов. Родился в Орле, потом жил и работал в Москве, Харькове. В 1910-х жил в Одессе, покровительствовал молодым авторам будущей «одесской плеяды». В 1920 г. эмигрировал в Латвию. Скончался от инсульта в 1941 г. в Риге.

Лики городов

Ее я увидел светлой, золотой осенью.

Уже сентябрь, а здесь все еще стоит и не уходит горячее, знойное лето. Цветут цветы, горят глаза и лица, звенит смех, на улицах толпа.

Ах, вы не знаете этой разноликой толпы международного юга!

Одесса – гордость толпы, город улицы. Харьков – тишина и покой. Одесса – шум и гомон. Пойдите по Дерибасовской, этой красавице улице красавца города.

Первое впечатление: Одесса город лодырей. Будто никто ничего не делает. Все кругом – какие-то счастливые бездельники. Сидят на скамьях под деревьями, глядят на небо и зевают, томясь от жары и ничегонеделанья.

В Одессе я первый раз.

И я поражен, пленен, заморожен ею, этой легкомысленной, хохочущей, жизнерадостной, страстной, веселой южанкой. Ни один город не имеет столько верных патриотов.

Одессит – тип.

Это – русский марселец. Легкомысленный хвостун, лентяй, весь внешний, великолепный лгун, задорный шутник.

Как жаль, что у него, этого лгуна и этого взрослого шалуна, нет своего Доде, нет своего романа, своего героя, имя которого стало бы нарицательным.

Где одесский Тартарен, как есть он у французов из Тараскона?

Почему?

Я думаю потому, что роман длинен, немного массивен.

В Одессе все должно быть легко и летуче.

Город, где смесь одежд и лиц переносит вас в атмосферу такой далекой, зарубежной, международной ярмарки, шумного и радостного базара, с десятками наречий, тысячами профессий, приморскими, портовыми кабачками, где английские матросы вступают с русскими в самую свирепую, кровавую битву и дерутся уже не кулаками, а бочонками, заменяющими стулья и табуреты.

Откройте четвертый том Куприна и еще раз прочтите рассказ «Гамбринус». Помните, там есть музыкант Сашка-еврей, – «кроткий, веселый, пьяный, плешивый человек, с наружностью обезьяны, неопределенных лет». «Проходили года, сменялись лакеи в кожаных нарукавниках, сменялись поставщики и развозчики пива, сменялись сами хозяева пивной, но Сашка неизменно каждый вечер к 6-ти часам уже сидел на своей эстраде со скрипкой в руках и с маленькой беленькой собачкой на коленях, а к часу ночи уходил из „Гамбринуса“, в сопровождении той же собачки Белочки, едва держась на ногах от выпитого пива».

Так было 10 лет тому назад, так и осталось и по сей час, и весь «Гамбринус» тот же самый, и на том же месте неизменно, по-прежнему, сидит и играет на своей скрипке этот Сашка, общий любимец, побеждающий грубые сердца этих пьяниц, выдавших виды, опасность и смерть людей. Этих и других кабачков, ресторанов, кофеен, пивных и винных погребов десятки на каждой улице и все они гудят, стонут, зовут и поют, как поет и зовет весь этот чудогород, город-легенда, суматоха и стон. Приезжайте в Одессу, приезжайте в Одессу!

Вы, утомленные желтыми туманами севера, больные и будто обреченные; вы, увядающие и опускающиеся в забытых людьми и Богом заглохших городах и спящих селах; вы, ищущие радостного и беззаботного веселья, в чьих жилах течет буйная и нетерпеливая кровь, и вы, странные и загадочные люди, носящие в душе мечту о самоубийстве, разочарованные, уязвленные совестью, неудавшиеся гении с разбитой жизнью и раздраженной печенью – все приезжайте сюда!

Шопенгауэр был пессимистом и женоненавистником, но только потому, что он никогда не был в Одессе. И – ах! Зачем ему никто не шепнул, что на свете есть такой великолепный, лечебный и целебный пункт, и почему среди разных «климатических» станций нигде не упоминается про Одессу? Разве боли духа не требуют климатических станций? Приезжайте! Впрочем, как хотите! Что до меня, отныне я знаю наверное, что никогда не кончу с собой. Я просто – возьму билет прямого сообщения «Петербург-Одесса» и буду долго-долго, весело и красиво жить.

А какой он любопытный, этот город. Заметьте, не любознательный, а любопытный. Вы знаете разницу? Она так проста. Любознательность всегда ставит вопрос: «зачем».

Любознательность – целесообразна, систематична и последовательна. Любопытство не знает ни цели, ни системы, оно знает только «почему?» И на этот вопрос ответ один: «потому что хочется знать».

Любознательность – черта мужская. В ней много «М».

Любопытство – женское начало, оно – «Ж», – и как же вы хотите, чтобы Одесса не была любопытна! Она падка поэтому до зрелищ, ее толпа соберется вокруг упавшей лошади и залавявшей собаки, жадная до всяких впечатлений, готовая слушать и смотреть все.

Поэтому Одесса такая театралка. Сцена – ее Бог, актер – ее кумир. И поэтому же она не читательница. Здесь книги лениво разбираются, томы не дочитываются, все проглядывается спешно, нервно, между делом, шутя и наскоро, с любопытством, но без знания.

Одесса – это иллюзион и фельетон, будто всю жизнь здесь, и ее темп, и ее лицо, и ее ум окрасила Женщина.

Разбросала душистые цветы, страшно пьянящие запахи, раскидала клумбы, забила фонтанами, населила жизнь призраками, обманчивыми мечтами и красивой прихотью, изменой и чувствительностью, нежностью и легкомыслием, суетой и нарядностью, огласила воздух милой песнью и воркующими голосами, осветила панели и улицы цветными огнями своих лиловых, зеленых, красных, фиолетовых и черных шляп, шумящих, шуршащих платьев, пронзила острыми молниями души, охмелила мысль и зажгла кострами сердца.

И в эти горячие, жаркие, жадные, золотые и распаленные дни, в эти то душные, то прохладные ночи она – Женщина – проходит здесь по этим тротуарам мимо вас, как Царица-Богиня, Властительница, то Марией, то Магдалиной, ведет вас за собой, свергает вниз, возносит вверх, убивая и воскрешая, даря терзаниями, муками, светом, истомой. Женщина, женщина!

Громадный город великого, неистощимого, сказочного безумия, дышащий духами и преступлением, ни на кого непохожий, прекрасный, бурный, спешащий, – что несешь ты с собой, как судьбу свою и нашу – бессмертие, жизнь или тление?

Вот место, где так хорошо и сладко сойти с ума, – и это море, и эта зелень, одно – гордое, другая – скромная, эти запахи морской гнили, тубероз, юга, женщин и духов, и этот нервный бег!..

Куда? Зачем?

К чему? К кому?

Одесса – город романтизма, романтики, он – фразер, позер, весь шелковый, – разве здесь можно мыслить, неизлечимо страдать, трагически рыдать?

Отшельничество и подвижничество, святая прелесть левитановской весны в средней России – как это далеко от Одессы, как чуждо ей, как не сродни!

Верх нелепости – создать Ясную Поляну даже не в самой Одессе – об этом смешно и говорить, – но, вот, хоть бы здесь, на том Большом Фонтане, где пробовал пожить Куприн, где так давно живут Федоров и Юшкевич.

Одесса – это опера, феерия, танцкласс, вокзал, но она не кабинет ученого и не келья мысли и веры.

Здесь дом – неволя, тянет на воздух, на простор, вдаль к морю, ввысь к солнцу, и Куприн, как приехал, так сразу захотел... лететь. Совершенно серьезно и без всяких шуток! И полетел с покойным Уточкиным.

Вы подумайте: этот человек земли, черноземный ум, черноземная сила, так любящий лес, и лошадь, и поле, реки, землю, и он даже решил лететь!..

Под этим солнцем, на этом юге среди цветов, у самого моря люди добрей, веселей, их шутки воздушней, их решимость красивей.

Приезжайте в Одессу!

Аркадий Аверченко *(1881–1925)*



Сатирик, юморист, очеркист. Родился в Севастополе. Работал с 15 лет, часто менял места работы, переезжая из города в город. Первый его рассказ «Как мне пришлось застраховать жизнь» появился в харьковской газете в 1903 г. Многие годы работал в популярном журнале «Сатирикон». После революции журнал закрыли, так как его коллектив занял антисоветскую позицию. В 1920 г. эмигрировал из России, жил в Софии, Белграде, Праге. В этом городе он и

скончался в 1925 г. Книга «Одесские рассказы» была издана в 1911 г. в «Дешевой библиотеке „Сатирикона“».

Одесса

Однажды я спросил петербуржца:

– Как вам нравится Петербург?

Он сморщил лицо в тысячу складок и обидчиво отвечал:

– Я не знаю, почему вы меня спрашиваете об этом? Кому же и когда может нравиться гнилое, беспросветное болото, битком набитое болезнями и полутора миллионами чахлах идиотов? Накрахмаленная серая дрянь!

Потом я спрашивал у харьковца:

– Хороший ваш город?

– Какой город?

– Да Харьков!

– Да разве же это город?

– А что же это?

– Это? Эх... не хочется только сказать, что это такое, – дамы близко сидят.

Я так и не узнал, что хотел харьковец сказать о своем родном городе. Очевидно, он хотел повторить мысль петербуржца, сделав соответствующее изменение в эпитетах и количестве «чахлых идиотов». Спрошенный мною о Москве добродушный москвич объяснил, что ему сейчас неудобно высказывать мнение о своей родине, так как в то время был Великий пост и москвич говел.

– Впрочем, – сказал москвич, – если вам уж так хочется услышать что-нибудь об этой прокл... об этом городе – приходите ко мне на первый день Пасхи... Тогда я отведу свою душеньку!

В Одессе мне до сих пор не приходилось бывать. Несколько дней тому назад я подъезжал к ней на пароходе – славном симпатичном черноморском пароходе, – и, увидев вдали зеленые одесские берега, обратился к своему соседу (мы в то время стояли рядом, опершись на перила, и поплевывали в воду) за некоторыми справками.

Я рассчитывал услышать от него самое настоящее мнение об Одессе, так как вблизи дам не было и никакой пост не мог связать его уст. И, кроме того, он казался мне очень общительным человеком.

– Скажите, – обратился я к нему, – вы не одессит?

– А что? Может быть, я по ошибке надел, вместо своей, вашу шляпу?

– Нет, нет... что вы!

– Может быть, – тревожно спросил он, – я нечаянно сунул себе в карман ваш портсигар?

– При чем здесь портсигар? Я просто так спрашиваю.

– Просто так? Ну, да. Я одессит.

– Хороший город – Одесса?

– А вы никогда в ней не были?

– Еду первый раз.

– Гм... На вид вам лет тридцать. Что же вы делали эти тридцать лет, что не видели Одессы?

Не желая подробно отвечать на этот вопрос, я уклончиво спросил: – Много в Одессе жителей?

– Сколько угодно. Два миллиона сто сорок три тысячи семнадцать человек.

– Неужели?! А жизнь дешевая?

– Жизнь? На тридцать рублей в месяц вы проживете, как Ашкинази! Нет ничего красивее одесских улиц. Одесский театр – лучший театр в России. И актеры все играют хорошие, талантливые. Пьесы все ставятся такие, что вы нигде таких не найдете. Потом Александровский парк... Увидите – ахнете.

– А, говорят, у вас еще до сих пор нет в городе электрического трамвая?

– Зато посмотрите нашу конку! Лошади такие, что пустите ее сейчас на скачки – первый приз возьмет. Кондукторы вежливые, воспитанные. Каждому пассажиру отдельный билет полагается. Очень хорошо! – А одесские женщины красивы?

Одессит развел руками и, прищурясь, сострадательно поник головой.

– Он еще спрашивает!

– А климат хороший?

– Климат? Климат такой, что вы через неделю станете такой толстый, здоровый, как бочка!

– Что вы! – испугался я. – Да я хочу похудеть.

– Ну, хорошо. Вы будете такой худой, как палка. Сделайте одолжение! А если бы вы знали, какое у нас в Одессе пиво! А рестораны!

– Значит, я ничего не теряю, собравшись в Одессу?

Он, не задумываясь, ответил:

– Вы уже потеряли! Вы даром потеряли тридцать лет вашей жизни.

Одесситы не похожи ни на москвичей, ни на харьковцев. Мне это нравится.

II

Во всех других городах принято, чтобы граждане с утра садились за работу, кончали ее к заходу солнца и потом уже предавались отдыху, прогулкам и веселью. А в Одессе настоящий одессит начинает отдыхать, прогулки и веселье с утра – так, часов с девяти. К этому времени все главные одесские улицы уже полны праздным народом, который бредет по тротуарам ленивыми, заплетающимися шагами, останавливается у всякой витрины, у всякого окна и с каким-то упорным равнодушием интересуется каждой мелочью, каждым пустяковым случаем, на который петербуржец не обратил бы никакого внимания.

Нянька тащит за руку ревушую маленькую девочку. Одессит остановится и станет следить с задумчивым видом за нянькой, за девочкой, за другим одесситом, заинтересовавшимся этим, и побредет дальше только тогда, когда нянька с ребенком скроется в воротах, а второй одессит застынет около фотографической витрины.

Стоит какому-нибудь извозчику остановить лошадь, с целью поправить съехавшую на бок дугу, как экипаж сейчас же окружается десятком равнодушных, медлительных прохожих, начинающих терпеливо следить за движениями извозчика.

Спешить им, очевидно, некуда, а извозчик, поправляющий дугу, – зрелище, которое с успехом может занять десять-пятнадцать праздных минут.

Сначала я думал, что одесситы совершают прогулку только ранним утром, рассчитывая заняться делами часов с одиннадцати-двенадцати. Ничуть не бывало.

В одиннадцать часов все рассаживаются на террасах многочисленных кафе и погружаются в чтение газет. Свои дела совершенно никого не интересуют. Все поглощены Англией или Турцией, или просто бюджетом России за текущий год. Особенно заинтересованы бюджетом России те одесситы, собственный бюджет которых не позволяет потребовать второй стакан кофе.

Двенадцать часов. Другие города в это время дня погружены в лихорадочную работу. Но только не Одесса. Только не одесситы.

В двенадцать часов, к общей радости, в ресторанах начинает греметь музыка, раздается веселое пение, и одесситы, думая, в простоте душевной, что их трудовой день уже кончен, гурьбой отправляются в ресторан.

Нет лучшего города для лентяя, чем Одесса. Поэтому здесь, вероятно, так много у всех времени и так мало денег.

III

Недавно я встретил на улице того самого одессита, который ехал со мной на пароходе. Он не узнал меня. А я подошел, приподнял шляпу и сказал:

– Здравствуйте. Не узнаете?

– А! – радостно вскричал он... – Сколько лет, сколько зим!.. Порывисто обнял меня, крепко поцеловал и потом с любопытством стал всматриваться.

– Простите, что-то не могу вспомнить...

– Как же! На пароходе вместе...

– А! Вот счастливая встреча! Мимо проходил еще какой-то господин. Мой одессит раскланялся с ним, схватил меня за руку и представил этому человеку.

– Позвольте вас представить...

Мимо проходил еще какой-то господин.

– А! – крикнул ему одессит, – Здравствуйте. Позвольте вас познакомить.

Мы познакомились. Еще проходили какие-то люди, и я познакомился и с ними. Потом решили идти в кафе. В кафе одессит потащил меня к хозяину и познакомил с ним. Какая-то девица сидела за кассой. Он поздоровался с ней, осведомился о здоровье ее тетки и потом сказал, похлопывая меня по плечу:

– Позвольте вас познакомить с моим приятелем.

Нет более общительного, разбитного человека, чем одессит. Когда люди незнакомы между собой-это ему действует на нервы.

Климат здесь жаркий, и поэтому все созревает с головокружительной быстротой. Для того, чтобы подружиться с петербуржцем, нужно от двух до трех лет. В Одессе мне это удавалось проделывать в такое же количество часов. И при этом сохранялись все самые мельчайшие стадии дружбы; только развитие их шло другим темпом. Вкусы и привычки изучались в течение первых двадцати минут, десять минут шло на оказывание друг другу взаимных услуг, так скрепляющих дружбу (на севере для этого нужно спасти другу жизнь, выручить его из беды, а одесский темп требует меньшего: достаточно предложить папиросу, или поднять упавшую шляпу, или придвинуть пепельницу), а в начале второго часа отношения уже были таковы, что ощущалась настоятельная необходимость заменить холодное, накрахмаленное «вы» теплым дружеским «ты». Случалось, что к концу второго часа дружба уже отцветала, благодаря внезапно вспыхнувшей ссоре, и таким образом, полный круг замыкался в течение двух часов.

Многие думают, что нет ничего ужаснее ссор на юге, где солнце кипит кровь и зной туманит голову. Я видел, как ссорились одесситы, и не нахожу в этом особенной опасности. Их было двое и сидели они в ресторане, дружелюбно разговаривая. Один, между прочим, сказал:

– Да, вспомнил: вчера видел твою симпатию... Она ехала с каким-то офицером, который обнимал ее за талию.

Второй одессит побагровел и резко схватил первого за руку.

– Ты врешь! Этого не могло быть!

– Во-первых, я не вру, а во-вторых, прошу за руки меня не хватать!

– Что-о? Замечания?! Во-первых, если ты это говоришь, ты негодяй, а, во-вторых, я сейчас хвачу тебя этой бутылкой по твоей глупой башке.

И он действительно схватил бутылку за горлышко и поднял ее.

- О-о! – бледнея от ярости и вскакивая, просвистел другой.
- За такие слова ты мне дашь тот ответ, который должен дать всякий порядочный человек.
- Сделай одолжение – какое угодно оружие!
- Прекрасно! Завтра мои свидетели будут у тебя. Петя Березовский и Гриша Попандупуло!
- Гриша! А разве он уже приехал?
- Конечно. Еще вчера.
- Ну, как же его поездка в Симферополь? Не знаешь?
- Он говорит – неудачно. Только деньги даром потратил.
- Вот дурак! Говорил же я ему – пропашее дело... А скажи, видел он там Финкельштейна?

Противники сели и завели оживленный разговор о Финкельштейне. Так как один продолжал машинально держать бутылку в воздухе, то другой заметил:

– Что ж ты так держишь бутылку? Наливай.

Оскорбленный вылил пиво в стаканы, чокнулся и, как ни в чем не бывало, стал расспрашивать о делах Финкельштейна.

Тем и кончилась эта страшная ссора, сулившая тяжелые кровавые последствия.

IV

Та быстрота темпа, которая играет роль в южной дружбе, применяется также и к южной любви.

Любовь одессита так же сложна, многообразна, полна страданиями, восторгами и разочарованиями, как и любовь северянина, но разница та, что пока северянин мямлит и топчется около одного своего чувства, одессит успеет перестрадать, перечувствовать около 15 романов.

Я наблюдал одного одессита.

Влюбился он в 6 час. 25 мин. вечера в дамочку, к которой подошел на углу Дерибасовской и еще какой-то улицы.

В половине 7-го они уже были знакомы и дружески беседовали.

В 7 часов 15 минут дама заявила, что она замужем и ни за какие коврижки не полюбит никого другого.

В 7 часов 30 минут она была тронута сильным чувством и постоянством своего собеседника, а в

7 часов 45 минут ее верность стала колебаться и трещать по всем швам.

Около 8 часов она согласилась пойти в кабинет ближайшего ресторана, и то только потому, что до этих пор никто из окружающих ее не понимал и она была одинока, а теперь она не одинока и ее понимают.

Медовый месяц влюбленных продолжался до 9 час 45 минут, после чего отношения вступили в фазу тихой, пресной, спокойной привязанности.

Привязанность сменилась привычкой, за ней последовало равнодушие (10 1/2 час), а там пошли попреки (10 3/4 час, 10 часов 50 минут) и к 11 часам, после замеченной с одной стороны попытки изменить другой стороне, этот роман был кончен!

К стыду северян нужно признать, что этот роман отнял у действующих лиц ровно столько времени, сколько требуется северянину на то, чтобы решиться поцеловать своей даме руку.

– Вот какими кажутся мне прекрасные, порывистые, экспансивные одесситы. Единственный их недостаток – это, что они не умеют говорить по-русски, но так как они разговаривают больше руками, этот недостаток не так бросается в глаза.

Одессит скажет вам:

– Вместо того, чтобы с мене смеяться, вы бы лучше указали для мене выход...

И если бы даже вы его не поняли – его конечности, пущенные в ход с быстротой ветряной мельницы, объяснят вам все непонятные места этой фразы.

Если одессит скажет слово:

– Мило.

Вы не должны думать, что ему что-нибудь понравилось. Нет. Сопровождающая это слово жестикуляция руками объяснит вам, что одесситу нужно мыло, чтобы вымыть руки.

Игнорирование одесситом буквы «ы» сбивает с толку только собак. Именно, когда одессит скажет при собаке слово «пиль», она, обыкновенно, бросается, сломя голову, по указанному направлению.

А бедный одессит просто указывал на лежащий по дороге слой пыли...

Одесситы приняли меня так хорошо, что я, с своей стороны, был бы не прочь сделать им в благодарность небольшой подарок:

Преподнести им в вечное и постоянное пользование букву «ы».

1911

II. Одесский язык

Влас Дорошевич
(1865–1922)



Журналист, театральный критик, очеркист, «король фельетона». Родился в Москве, работать в газете начал, еще будучи учеником гимназии. Был репортером «Московского листка», «Петербургской газеты» и др. Известность пришла, когда он работал в одесских газе-

тах. В 1895 г. вышла книга его фельетонов «Одесса, одесситы и одесситки». В мае 1921 г. возвратился в Петроград, где и умер от туберкулеза.

Одесский язык

(лекция на степень доктора филологических наук)

- Чашка кофе!
 - С молока или без молока?
 - Без никому!
- Из разговоров в одесской кофейне.

Милостивые государыни и милостивые государи!..

Виноват!

В Одессе нет ничего милостивого:

Ни милостивых государей, ни милостивых государынь.

Этот маленький Париж населён исключительно *monsieur*'ами и *madame*'ами.

В этом городе не говорят иначе, как *monsieur* и *madame*.

*Les odessites sont plus parisiens, que les parisiens mêmes*⁶.

Или, как это следует сказать на одесском языке:

«*Messieurs les odessites sont plus messieurs les parisiens, que messieurs les parisiens mêmes*»⁷.

– *Monsieur* – мой муж!

– *Madame* – моя жена!

– Я хочу новую шляпку, *monsieur* Икс!

– Но разве *madame* Икс не знает, что цены на пшеницу вовсе не таковы, чтоб покупать новые шляпки?

– *Madame* Икс нет никакого дела до цен на пшеницу. Если *monsieur* Икс женился, он должен покупать своей жене, *madame* Икс, новые шляпки.

– *Madame* Икс говорит глупости!

– *Monsieur* Икс – изверг! *Monsieur* Икс – тиран! *Monsieur* Икс – негодяй!

– А *madame* Икс, просто-напросто, – дура!

Какая тонкость обращения!

Даже, пуская мужу в голову суповой миской, здесь говорят:

– *Monsieur* Икс – величайшая бестия в свете.

Оборот фраз, бесспорно, заимствованный из индейского.

Так же точно говорят дикари Южной Америки.

– Чего хочет краснокожая жена воина Лисий хвост?

– Краснокожая жена его хочет продеть в нос новую рыбную кость.

– Язык краснокожей женщины говорит глупости. Разве не знает краснокожая женщина, что бледнолицые собаки выловили всю рыбу в Великой Реке?

<...> Как видите, совсем разговоры краснокожих с добавлением «*monsieur*» и «*madame*».

В Одессе вы через два месяца забудете, как вас зовут по имени и отчеству, и когда вас кто-нибудь спросит:

– Как поживаете, Иван Иванович?

Вы будете чрезвычайно удивлены:

⁶ Одесситы более парижане, чем сами парижане (*фр.*).

⁷ Господа одесситы более господа, чем парижане, чем даже господа парижане (*фр.*).

– Кто это Иван Иванович?!

Я не знаю, как разговаривали между собой маркизы времён Людовика XIV.

Но навряд ли тоньше!

Здесь говорят друг с другом в третьем лице, и вас спрашивают в гостях:

– Не хочет ли *monsieur* Иванов чаю?

Первое время вы недоумеваете, кто этот «*monsieur* Иванов», о котором вас спрашивают, и пожимаете плечами:

– А Бог его знает!

Только по улыбающимся лицам остальных вы догадываетесь, что речь идёт о вас:

– Ах! Ведь это я *monsieur* Иванов! О, *monsieur* Иванов очень-очень хочет чаю, *madame* хозяйка дома!

На вас смотрят с сожалением:

– Вот бедняга, который ещё не понимает тонкостей одесского обращения!

Но через две недели, как уже сказано выше, вы сами позабудете ваше имя и отчество.

Гарантируется!

Вы сами начнёте говорить:

– На этом вечере были: моя жена *madame* Иванова, мой сын *monsieur* Иванов, мой брат *monsieur* Иванов и я сам – тоже *monsieur* Иванов!

В Одессе всякая, кто носит юбку, непременно «*madame*».

И даже *messieurs*, продающие на Греческом базаре скумбрию и баклажаны, кричат:

– *Madame* кухарка! *Madame* кухарка! Пожалуйте к нам!

Эта тонкость обращения доведена до того, что даже простонародье, обвиняя друг друга в драке, говорит друг о друге не иначе, как «*monsieur*» и «*madame*».

– Мосье мировой судья, вот мосье Петров оттаскал меня на рынке за волосы. Спросите мосье городского.

– Да, мусье мировой судья, но мадам Сидорова сама первая ударила меня камбалой по лицу. Спросите мусье дворника.

– Образованные мосье так не поступают!

– Но и образованные мадамы камбалой не дерутся!

Этот пшеничный город вместе с тем удивительно галантерейный город.

Словом, если вы хотите быть вполне-вполне просвещёнными одесситами, вы должны на улице звать:

– *Monsieur* извозчик!..

Итак, *messieurs* и *mesdames*!

Приступая к лекции об одесском языке, этом восьмом чуде в свете, мы прежде всего должны определить, что такое язык.

«Язык дан человеку, чтоб скрывать свои мысли», – говорят дипломаты.

«Язык дан человеку, чтоб говорить глупости», – утверждают философы.

Способность речи дана только человеку, – и это делает его невыносимейшим из всех животных.

Одесситу язык дан, чтобы сплетничать.

Перечисляя все заслуги города, сумевшего за сто лет вырасти из маленького Хаджибея в большие Тетюши, – позабыли одну из его главных заслуг.

Он сумел составить свой собственный язык.

Гейне говорит, что чёрт, желая создать английский язык, взял все языки, пережевал и выплюнул.

Мы не знаем, как был создан одесский язык.

Но в нём вы найдёте по кусочку любого языка.

Это даже не язык, это винегрет из языка.

Северяне, приезжая в Одессу, утверждают, будто одесситы говорят на каком-то «китайском языке».

Это не совсем верно.

Одесситы говорят скорее на «китайско-японском языке».

Тут – чего хочешь, того и просишь.

И мы удивляемся, как ни один предприимчивый издатель не выпустил до сих пор в свет «самоучителя одесского языка», на пользу приезжим.

Без знания одесского языка тут вас ждёт масса водевильных недоразумений и чисто опереточных *qui pro quo*.

– Советую вам познакомиться с *monsieur* Игрек: он всегда готов занять денег!

– Позвольте! Но что ж тут хорошего? Человек, который занимает деньги!

– Как! Человек, который занимает деньги? Это такой милый, любезный...

– Ничего не вижу в этом ни милого, ни любезного.

– Это такой почтенный человек. Его за это любит и уважает весь город.

«Чёрт возьми! – думаете вы. – Как, однако, здесь легко прослыть почтенным. Начну-ка и я занимать направо и налево, – чтоб меня любил и уважал весь город!»

Но при первой же попытке «занять», – вы поймёте ошибку.

Везде занимать – значит «занимать», т. е. брать взаймы.

И только в Одессе «занять» значит дать взаймы.

– Я занял ему сто рублей.

– Я занял ему двести рублей.

– Я занял ему тысячу рублей.

Впрочем, это говорится редко: здесь теперь никто не «занимает», потому что никто не отдаёт.

– *Monsieur* не скучает за театром?

– Зачем же я должен скучать непременно за театром? Я скучаю дома.

– Как *monsieur* не скучает за театром? А мы все ужасно скучаем за театром!

Вы удивлены, потому что за театром в Одессе находится Северная гостиница, где далеко не скучают.

Но здесь не говорят: скучать «о чём-нибудь», скучать «по чём-нибудь».

На одесском воляпюке скучают обязательно «за чем-нибудь».

Публика скучает «за театром», продавцы – «за покупателями», жёны «скучают за мужьями».

Последнее, впрочем, здесь случается редко.

А чудное одесское выражение: «говорить за кого-нибудь»!

Вы будете страшно изумлены, когда услышите, что:

– *Monsieur* прокурор чудно говорил за этого мошенника.

«Вот добрый город, – подумаете вы, – где даже прокуроры говорят за обвиняемых».

Но в одесском языке, – извините, – не существует предлога «о».

Здесь не говорят «о чём-нибудь», – здесь говорят «за что-нибудь».

И если о вас скажут, что вы – растратчик, обольститель невинных созданий, убили родную мать и съели двоюродную тётку, – то это, всё-таки, будет значить, что говорят «за» вас.

– *Merci* за такое «за». Что же здесь, в таком случае, значит говорить «против»?

– Ах, я ужасно смеялась с него!

– Как?!

– Я смеялась с него. Что же тут удивительного? Он такой смешной!

– Да, но, всё-таки, смеяться «с него»! Можно смеяться над кем-нибудь, но смеяться «с кого».

– В Одессе всегда смеются с кого-нибудь.

Г-да фельетонисты здесь очень много смеются, например, «с городской управы», но с городской управы это как с гуся вода.

Может быть, отсюда и взят этот предлог «с»!

– Вообразите, – говорят вам, – я вчера сам обедал!

«Чёрт возьми, – думаете вы, – неужели этот город так богат, что здесь даже обедают через адвоката!»

– Я сама хожу гулять.

– Да, madame, но вы уж, кажется, в таком возрасте, что пора ходить «самой»!

Впрочем, иногда, для ясности, messieurs одесситы бывают так любезны, что прибавляют:

– Сам один!

Но это только снисходительность к приезжим, не понимающим ещё всех тонкостей одесского языка.

Затем, вы услышите здесь несуществующий ни на одном из европейских и азиатских языков глагол «ложить».

Везде детей «кладут спать», – и только в Одессе их «ложат спать». Вероятно, так одесским детям удобнее.

– Я ложила детей спать и приехала сюда, потому что скучаю за театром! – с обворожительной улыбкой говорит одесситка.

Впрочем, она может сказать и иначе:

– Потому что я соскучила за театром!

Это превосходный одесский глагол.

Я соскучил, ты соскучил, он соскучил, мы соскучили, вы соскучили, они соскучили.

Впрочем, одесский язык не признаёт ни спряжений, ни склонений, ни согласований, – ничего!

Это язык настоящих болтунов, – язык свободный как ветер.

Язык без костей.

Вы приказываете вашему человеку подать визитку. Он отвечает:

– Никак невозможно. На нём мусор стоит!

В переводе с одесского на человеческий, это значит, что «на ней пыль лежит».

«Стоит» вместо «лежит», «мусор» вместо «пыль» и «на нём», – когда речь о визитке!

Что же после этого удивительного, что даже наиболее солидные одесситы часто возвращаются домой «через форточку».

На севере «через форточку» входят в дом только воры, – и это отлично предусмотрено уложением о наказаниях.

А здесь даже дамы возвращаются домой «через форточку».

Это при их-то туалетах и запорожских шароварах, которые они надевают на руки!

Вы, конечно, будете страшно удивлены, когда вам скажут в гостинице:

– Вы, monsieur, когда придёте поздно, – пройдите через форточку. У нас ворота закрыты.

Вам рисуется страшная картина.

Ночь. Никого. Вы подставляете лестницу. Лезете в форточку. Свистки. Городовой. Участок.

Но успокойтесь! Здесь «форточкой» зовут «калитку».

Точно так же, как «дурным» зовут «глупого».

Когда вам говорят:

– Это дурная девушка.

Не спешите отказываться от сделанного ей предложения.

Это не значит много плохого, – это значит только, что она глупая.

Разве в жене это недостаток?!

Чтоб говорить по-одесски, вы должны знать, что такое «хвостит» и «телепается».

Увидав, что у дамы готова слететь шляпа, вы должны сказать:

– Madame, придержите вашу шляпу: она телепается.

На что она ответит вам с очаровательнейшей в мире улыбкой:

– Merci вам, monsieur. Это оттого, что на дворе сильно хвостит.

«Хвостит» значит дует, «телепается» – колышется, а «на дворе» – значит на улице.

Здесь смело говорят:

– Я ещё не ходила сегодня на двор.

И это значит только, что она не была ещё сегодня на улице.

«Не имела гулять».

О, добрые немцы, которые принесли в Одессу секрет великолепного приготовления колбас и глагол «иметь».

– Я имею гулять.

– Ты имеешь смеяться.

– Он имеет соскучить.

– Мы имеем кушать.

– Вы не имеете кушать.

– Они имеют говорить глупости.

В Одессе всё «имеют»... кроме денег.

Когда вас спрашивают:

– С чем monsieur хочет чай: со сливками или с лимоном?

Вы обязательно должны ответить с любезной улыбкой:

– Без ничего!

Везде чай пьют «безо всего», но в Одессе не поймут этого выражения. По-одесски пьют «без ничего».

Кроме того, вы должны говорить «туда и сюда», чтоб не быть осмеянным, если скажете «туда и сюда».

– Monsieur куда идёт? В театр или в цирк?

Обязательно надо сказать:

– И тудаю, и сюдаю!

Конечно, если вы не хотите, чтоб за ваше «и туда, и сюда» над вами не посмеялись как над невеждой, не знающим русского языка!

Тонкая деликатность обращения не позволяет одесситу сказать даже такое, в сущности, невинное слово, как «сосиски» или «колбаса».

Всюду эти слова говорятся даже при барышнях-невестах.

А в Одессе вам предлагают в начале ужина:

– Не хочет ли monsieur немножко сосиссонов?

И в конце:

– А не хочет ли monsieur кусочек фромажа?

– Мы ужинали вчера сосиссонами и фромажом.

Даже ещё лучше сказать:

– Мы супировали вчера сосиссонами и фромажом.

Это будет уже совсем, говоря по-одесски, «что-нибудь особенное».

Точно так же, как деликатнее сказать «динировали», а не обедали.

Ведь пишут же здесь, что «артист бисировал свою арию».

Если можно «бисировать», отчего нельзя «динировать»?

Это в тысячу раз деликатнее, чем «обедать», и гораздо более идёт к городу, где никто не «ест», а кушает! Даже рабочий на эстакаде «кушает» тухлую селёдку.

Таков этот одесский язык, как колбаса, начинённый языками всего мира, приготовленный по-гречески, но с польским соусом.

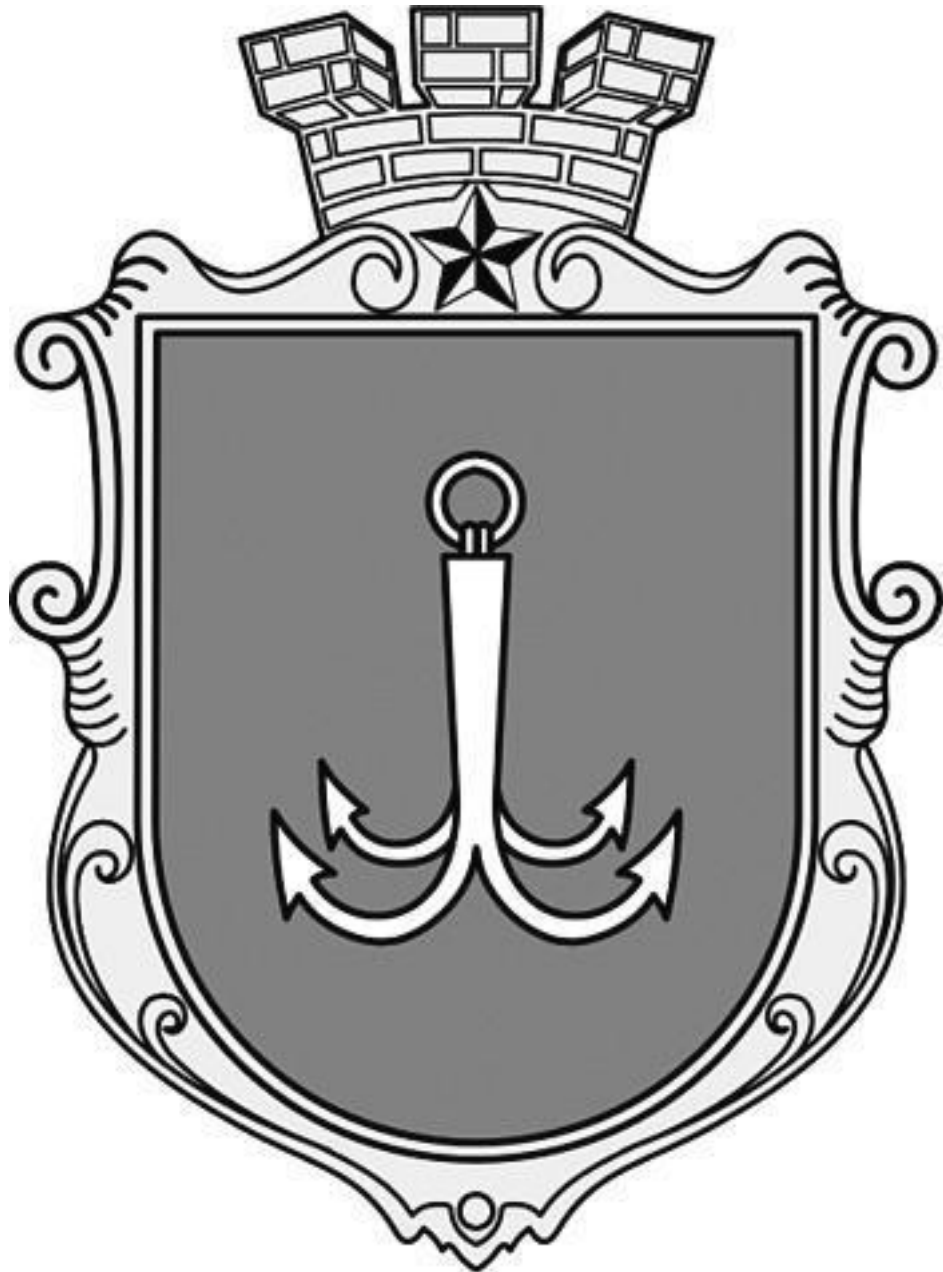
И одесситы при всём этом уверяют, будто они говорят «по-русски».

Нигде так не врут, как в Одессе!

Я мог бы ещё дальше продолжать свои исследования об этом чудном языке, но боюсь, что *messieurs* и *mesdames* уже соскучили за тем, что я долго говорю за одесский язык, обязательно начнут с меня смеяться и, видя, что от моей лекции некуда деваться ни тудюю, ни сюдою, удержат в форточку, а я буду иметь остаться сам, без никого!

1895

Маноля
(Эммануил Иосифович Соминский)
(1887 – после 1968)



Поэт, сатирик, журналист, редактор одесской сатирической газеты «Перо в спину» (1919), которую считали самой остроумной и ядовитой газетой того времени. Именно Маноле принадлежит термин «одессизмы».

Об одесском языке

«Человек – это слог» (по Бюффону). Речь одессита ярка, красочна, неглубока по содержанию, но эластична, остроумием не блещет, но иногда ослепляет или ударяет в нос, подобно

хорошей одесской сельтерской воде. Ощущение получается не то, чтобы уж очень неприятное, но с непривычки не всякий переносит.

Прежде всего, заметим, что одессит – это особая разновидность людей, с национальностью не связанная: это русский, еврей, грек, армянин и т. д. Это всякий человек, не обязательно родившийся в Одессе, но, во всяком случае, настолько любящий этот город, что, находясь на Монблане или в лазурном гроте острова Капри, вдруг иногда вздохнет и скажет: ах, Одесса-мама!

Вот у детей этой мамы и существуют особые выражения, назовем их «одессизмами» в рендант к галлицизмам и т. п., словам и выражениям, свойственным определенным народностям и непереводаемым на другие языки.

Многие одессизмы распространяются за пределы родного города и их можно услышать в Маяках, Слободке-Романовке, Аккермане и даже Балте.

Приведу некоторые примеры

Одессит говорит: «Я нечаянно лопнул стакан». Конечно, не нужно быть специалистом-филологом, чтобы заметить, что выражение это, с точки зрения русского языка, неправильно: глагол «лопнуть» не действительного залога, а потому после него не может быть прямого дополнения (стакан). Однако такая фраза имеет право на существование, ибо ее нельзя заменить другой, такой же краткой и имеющей тот же смысл.

Еще говорят в Одессе: «Я видел вашу тетю идти по Ришельевской улице». Здесь, очевидно, влияние французского языка. Сравните, например, *je vois vous chanter*, что значит буквально: «я вижу вас петь». Укажу еще на некоторые одесские фразы:

«Сема, не дрожи диван, ты лопнешь все пружины».

«Ходить пешком или ехать на трамвае – это две большие разницы».

«Вчера на улице была страшная мокрота».

Недавно, сидя в «Иллюзионе», я слышал, как один одессит обратился к громко разговаривающему соседу с замечанием: «Товарищ, вы мне мешаете впечатляться». И это выражение мне очень понравилось, как новое, оригинальное и очень соответствующее.

Почему одесситу-южанину нельзя того, что можно Игорю Северянину, в особенности теперь, когда у нас равноправие?

Есть у нас один очень известный писатель. Русские писатели считают его еврейским, а еврейские писатели считают его русским. Так и не знали, куда его причислить, пока не открыли, что он пишет на чистейшем одесском языке. Среди его произведений есть «Распад», «Король», «Приключения Леона Дрея», «Комедия брака» и другие. Желающих поближе ознакомиться с одесским языком мы прямо отсылаем к этим произведениям (Семена Юшкевича). Это мы считаем тем более необходимым, что в Лазаревском институте восточных языков кафедры одесского языка пока еще не существует.

1917

Александр Биск
(1883–1973)



Поэт, переводчик. Родился в Киеве, потом семья переехала в Одессу. Печататься начал с 1904 г. Первым в России стал переводить Рильке и продолжал это делать более полувека. В 1919 г. эмигрировал, жил в Бельгии, потом в США. В эмиграции написал воспоминания об

одесском литературно-артистическом обществе. Рукопись была передана его сыном, французским поэтом-академиком Аленом Боске в одесский Литературный музей.

Одесский язык

(отрывок)

В программе значится «Одесский язык» и публика готовится услышать водевиль или собрание анекдотов. А между тем к этому вопросу можно подойти почти серьезно.

Ага, это Одесса, где говорят «туда и сюдою». Начнем с того, что в так называемом интеллигентном обществе никто в Одессе так не говорит. «И напрасно» – замечает Жаботинский. – «Я пойду сюдою, а ты тудою». В русском языке нет равнозначного выражения, такого же понятного и короткого.

Конечно, в Одессе говорят по-русски плохо, но господам, смеющимся над одесскими ошибками, не мешало бы заглянуть в зеркало и узреть собственные грехи.

<...> Не только в Одессе говорят «Олечка, Валичка, Мишечка». Никто не хочет помнить, что у Пушкина сестра Оленька, а не Олечка.

А многие ли знают разницу между «быстро» и «скоро»? Быстрота есть темп, скорость есть отрезок времени. «Я поеду быстро, и поэтому скоро приеду». Это путают всюду и, если Пушкин в «Руслане и Людмиле» говорит:

Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином...
То Пушкин согрешил.

А неправильное употребление родительного падежа после кажущегося отрицания – это вы услышите от любого оратора. Возьмем простую фразу: «доказать этого никто не мог». Эта фраза кажется привычной, а между тем здесь грубая ошибка. Почему «доказать этого»? При глаголе «доказать» нет отрицания, здесь родительный падеж неуместен. Нужно сказать «доказать это никто не мог». У Пушкина тоже есть такая ошибка:

Всего, что знал еще Евгений,
Здесь перечеть мне недосуг.

Переставать слова, вы сразу обнаружите ошибку: мне недосуг перечеть всего, что знал Евгений. Ясно, что нужно сказать: мне недосуг перечеть все, что знал Евгений.

В Одессе говорят «ехать на извозчике» вместо «ехать на дрожках». Если так писал Жаботинский, то скажут, что он был одессит. Но Алданов не одессит, и Лев Толстой тоже не одессит, а у него уже совсем двусмысленно: в «Анне Карениной» Левин слезает с извозчика.

На что уж безвкусно якобы одесское выражение «я извиняюсь». Зошенко часто употребляет его, правда, он влагает его в уста своего полуграмотного персонажа. Однако, это выражение встречается и в серьезной литературе, и у Достоевского, и у Чехова в «Дяде Ване»: «Молчу и извиняюсь».

У нас говорят: откройте дверь, закройте окно. Осоргин проповедовал, что открыть можно только то, что имеет крышку: открыть можно коробку, открыть рояль. Но мы говорим: открыть рот, открыть глаза, открыть книгу. Конечно, можно сказать разевать рот, развернуть

газету, но я не знаю, чем заменить выражение открыть или раскрыть книгу, несмотря на то, что книга не имеет крышки. Конечно, выражение «открыть дверь» или «закрыть окно» бессмысленно: двери, русские окна, ставни, по аналогии с воротами, отворяют, растворяют. У Толстого вы не встретите этой ошибки, у него всегда правильно: отворите, затворите дверь. Тем более странно читать в «Евгении Онегине»: открыты ставни или «не спится, няня, здесь так душно, открой окно и сядь ко мне».

Признаюсь, я стал размышлять – откуда эта напасть у солнца русской поэзии? Кажется, я обнаружил источник: эти стихи были написаны в 1823 и 1824 году, а в 1823-м году Пушкин жил в Одессе. Как не похвастать, что мы оказали влияние на Пушкина!

Есть много выражений, относительно которых существует невероятная путаница, и не только у нас. Как сказать: шляпа идет вам или: шляпа идет к вам. Одни писатели пишут так, другие иначе. У Лермонтова встречаются обе формы. Как сказать: между двух стульев, двух деревьев – с родительным падежом или же с творительным: между двумя свечами, между двумя стульями. В двух томах «Войны и мира» на тринадцать подобных случаев я насчитал шесть раз одну форму и семь раз другую. Что же хотят от нас, простых смертных.

Одессит терпеть не может неточность и недоговоренность. Он любит уточнять и подчеркивать смысл фразы. Если приятель говорит: я был вчера один в Аркадии, он непременно переспросит: сам один? Если же он услышит: мы оба были там, то реплика будет: оба два?

Местоимение «каждый» недостаточно сильно для него, он дает ему подпорку и произносит: каждый-всякий. Его не удовлетворяет фраза: «какая разница между человеком и животным». Он считает нужным дважды употребить союз «между». Он скажет: «какая разница между человеком и между животным».

Если одессит говорит: «я слышал вас играть», в этом нет ничего удивительного, это типичный галлицизм. Если вы услышите: «Я вчера говорил за вас» – это влияние украинского языка и даже необычайно яркое выражение «я вас держу за слово» есть перевод с немецкого.

Пушкин говорит об одесситах:

Бегут за делом и без дела,
Но все же больше по делам.

Любое происшествие называется в Одессе делом. В случае какой-нибудь, даже семейной неприятности, одессит с сокрушением говорит: хорошее дело. Где, кроме Одессы, вы услышите такое замечательное выражение «это что-нибудь особенное» или «я да видел это» или «как вы хорошо смотрите». А этот перл: «этот чай тянет на керосин».

Я говорил, одессит – индивидуалист, он не скажет, как полагается по-русски «у меня голова болит», он должен выделить, подчеркнуть личное местоимение. По-одесски это будет: «мне голова болит».

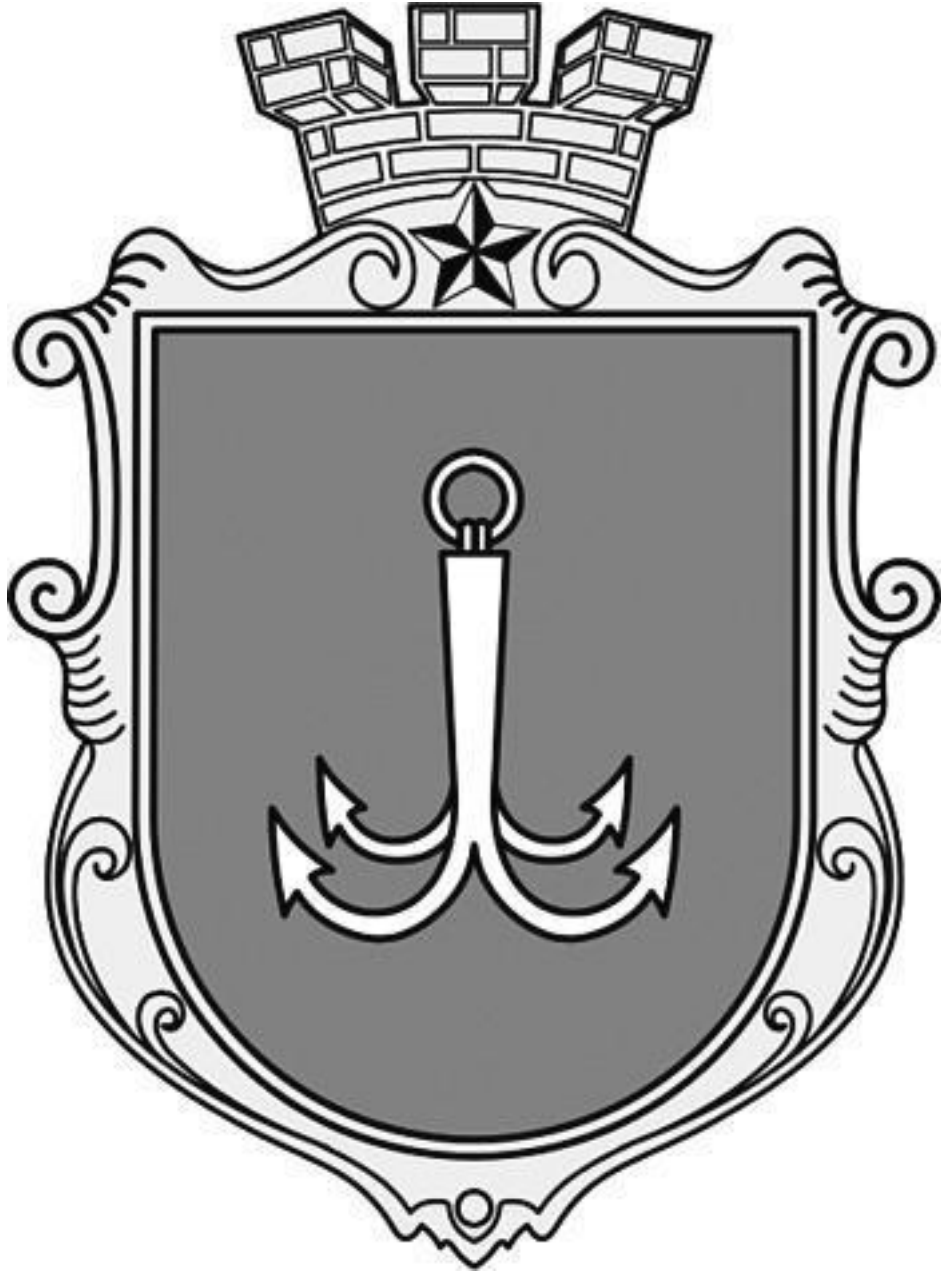
Еще чудесная фраза: «мне холодно в ноги». Впрочем, предлагаю задачу: сказать это правильно, но так же коротко и ясно.

Какая гамма переживаний в единой короткой фразе «держи фасон». Здесь целая философская система, credo, мирозерцание – и все в двух словах.

1930-40-е гг.

III. Одесское...

Аркадий Аверченко



Одесское дело

I

- Я тебе говорю: Франция меня еще вспомнит!
- Она тебя вспомнит? Дождись!..
- А я тебе говорю – она меня очень скоро вспомнит!!

– Что ты ей такое, что она тебя будет вспоминать?

– А то, что я сотый раз спрашивал и спрашиваю: Франции нужно Марокко? Франции нужно бросать на него деньги? Это самое Марокко так же нужно Франции, как мне лошадиный хвост! Но... она меня еще вспомнит!

Человек, который надеялся, что Франция его вспомнит, назывался Абрамом Гидалевичем; человек, сомневающийся в этом, приходился родным братом Гидалевичу и назывался Яков Гидалевич.

В настоящее время братья сидели за столиком одесского кафе и обсуждали положение Марокко.

Возражения рассудительного брата взбесили порывистого Абрама. Он раздражительно стукнул чашкой о блюдце и крикнул:

– Молчи! Ты бы, я вижу, даже не мог быть самым паршивым министром! Мы еще по чашечке выпьем?

– Ну, выпьем. Кстати, как у тебя дело с лейбензоновским маслом?

– Это дело? Это дрянь. Я на нем всего рублей двенадцать как заработал.

– Ну, а что ты теперь делаешь?

– Я? Покупаю дом для одной там особы.

В этом месте Абрам Гидалевич солгал самым беззастенчивым образом – никакого дома он не покупал, и никто ему не поручал этого. Просто излишек энергии и непоседливости заставил его сказать это.

– Ой, дом? Для кого?

– Ну да... Так я тебе сейчас и сказал.

– Я потому спрашиваю, – возразил, нисколько не обидевшись, Яков, – что у меня есть хороший продажный домик. Поручили продать.

– Ну?! Кто?

Яков хладнокровно пожал плечами.

– Предположим, что сам себе поручил. Какой он умный, мой брат. Ему сейчас скажи фамилию, и что, и как.

Солгал и Яков. Ему тоже никто не поручал продавать дом. Но сказанные им слова уже имели под собой некоторую почву. Он не бросил их на ветер так, здорово живешь. Он рассуждал таким образом: если у Абрама есть покупатель на дом, то это, прежде всего, такой хлеб, которым нужно и следует заручиться. Можно сначала удержать около себя Абрама с его покупателем, а потом уже подыскать продажный дом.

Услышав, что у солидного, не любящего бросать слова на ветер Якова оказался продажный дом, Абрам раздул ноздри, прищелкнул под столом пальцами и тут же решил, что такого дела упускать не следует.

«Если у Якова есть продажный дом, – размышлял, поглядывая на брата, Абрам, – то я сделаю самое главное: заманю его своим покупателем, чтобы он совершил продажу через меня, а потом уже можно найти покупателя. Что значит можно найти? Нужно найти! Нужно перерваться пополам, но найти. Что я за дурак, чтобы не заработать полторы-две тысячи на этом?»

«Кое-какие знакомые у меня есть, – углубился в свои мысли Яков. – Если у Абрашки в руках покупатель – почему я через знакомых не смогу найти домовладельца, который бы хотел развязаться с домом? Отчего мне не сделать себе тысячи полторы?»

– Так что ж ты... продаешь дом? – спросил с наружным равнодушием Абрам.

– А ты покупаешь?

– Если хороший дом – могу его и купить.

– Дом хороший.

– Ну, это все-таки нужно обсмотреть. Приходи сюда через три дня. Мне еще нужно поговорить с моим доверителем.

– Молодец, Абрам. Мне тоже нужно сделать кое-какие хлопоты. Я уже иду. Кто платит за кофе?

– Ты.

– Почему?

– Ты же старше.

II

В течение последующих трех дней праздные одесситы с изумлением наблюдали двух братьев Гидалевичей, которые как бешеные носились по городу, с извозчика перескакивали на трамвай, с трамвая прыгали в кафе, из кафе опять на извозчика, а Абрама один раз видели даже несущимся на автомобиле...

Дело с домом, очевидно, завязалось нешуточное.

Похудевшие, усталые, но довольные сошлись, наконец, оба брата в кафе, чтобы поговорить «по-настоящему».

– Ну?

– Все хорошо. Скажи, Абрам, кто твой покупатель и в какую, приблизительно, сумму ему нужен дом?

– Ему? В семьдесят тысяч.

– Ой! У меня как раз есть дом на семьдесят пять тысяч. Я думаю, еще можно и поторгаться. А кто?

– Что кто?

– Кто твой покупатель? Ну, Абрам! Ты не доверяешь собственному брату?

– Яша! Ты знаешь знаменитую латинскую поговорку: «Платон! Ты мне брат, но истина мне гораздо дороже». Так пока я тебе не могу сказать. Ведь ты же мне не скажешь!

Яков вздохнул.

– Ох, эти коммерческие дела... Ты уже получил куртажную расписку?

– Нет еще. А ты?

– Нет. Когда мы их получим, тогда можно не только фамилию его сказать, а более того: и сколько у него детей, и с кем живет его жена даже! О!

– Скажи мне, Яша... Так, знаешь, положи руку на сердце, почему твой доверитель продает дом? Может, это такая гадость, которую и на слом покупать не стоит?

– Абрам! Гадость? Стоит тебе только взглянуть на него, как ты вскрикнешь от удовольствия – новенький, сухой домик, свеженький, как ребеночек, и, по-моему, хозяин суший идиот, что продает его. Он, правда, потому и продает, что я уговорил. Я ему говорю: тут место опасное, тут могут быть оползни, тут, вероятно, может быть, под низом каменоломни были – дом ваш сейчас же провалится! Ты думаешь, он не поверил? Я ему такое насказал, что он две ночи не спал и говорит мне, бледный, как потолок: продавайте тогда эту дрянь, а я найду себе другой дом, чтобы без всякой каменоломни.

– Послушай... ты говоришь – дом, дом, но где же он, твой дом? Ты его хочешь продать, так должны же мы его с покупателем видеть?! Может, это не дом, а старая коробка из-под шляпы. Как же?

– Сам ты старая коробка! Хорошо, мы покажем твоему покупателю дом, а он посмотрит на него и скажет: «Домик хороший, я его покупаю; здравствуйте, господин хозяин, как вы поживаете, а вы, Гидалевичи, идите ко всем чертям, вы нам больше не нужны». А когда мы получим куртажные расписки, мы скажем: «Что? А где ваши два процента?»

– Ну, хорошо... скажи мне только, на какую букву начинается твой домовладелец?

– Мой домовладелец? На «це». А твой покупатель?

– На «бе».

И соврали оба.

Тут же оба дельца условились взять у своих доверителей куртажные расписки и собраться через два дня в кафе для окончательных переговоров.

– Кто сегодня платит за кофе? – полюбопытствовал Абрам.

– Ты.

– Почему?

– Потому что я тобой угощаюсь, – отвечал мудрый Яша.

– Почему ты угощаешься мною?

– Потому что я старше!

III

Это был торжественный момент... Две куртажных расписки, покоившихся в карманах братьев Гидалевичей, были большими, важными бумагами: эти бумаги приносили с собой всеобщее уважение, почет месяца на четыре, сотни чашек кофе в громадном уютном кафе, несколько лож в театре, к которому каждый одессит питает настоящую страсть, ежедневную ленивую партию в шахматы «по франку» и ежедневный горячий спор о Марокко, Китае и мексиканских делах.

Братья сели за дальний столик, потребовали кофе и, весело подмигнув друг другу, вынули свои куртажные расписки.

– Ха! – сказал Яков. – Теперь посмотрим, как мой субъект продаст свой дом помимо меня.

– А хотел бы я видеть, как мой покупатель купит себе домик без Абрама Гидалевича.

Братья придвинулись ближе друг к другу и заговорили шепотом...

Из того угла, где сидели братья Гидалевичи, донеслись яростные крики и удары кулаками по столу.

– Яшка! Шарлатан! Почему твоего продавца фамилия Огурцов?

– Потому что он Огурцов. А разве что?

– Потому что мой тоже Огурцов!! Павел Иваныч?

– Ну да. С Продольной улицы. Так что?

– Ой, чтоб ты пропал!

– Номер тридцать девятый?

– Да!

– Так это же он! Которому я хочу продать твой дом.

– Кому? Огурцову? Как же ты хочешь продать Огурцову дом Огурцова?

– Потому что он мне сказал, что покупает новый дом, а свой продает.

– Ну? А мне он говорил, что свой дом он продает, а покупает новый.

– Идиот! Значит, мы ему хотели его собственный дом продать? Хорошее предприятие.

Братья сидели молча, свесив усталые от дум, хлопот и расчетов головы.

– Яша? – тихо спросил убитым голосом Абрам. – Как же ты сказал, что его фамилия начинается на «це», когда он Огурцов?

– Ну, кончается на «це»... А что ты сказал? На «бе»? Где тут «бе»?

– Яша... Так что? Дело, значит, лопнуло?

– А ты как думаешь? Если ему хочется еще раз купить свой собственный дом, то дело не лопнуло, а если один раз ему достаточно – плюнем на это дело.

– Яша! – вскричал вдруг Абрам Гидалевич, хлопнув рукой по столику. – Так дело еще не лопнуло!.. Что мы имеем? Одного Огурцова, который хочет продать дом и хочет купить дом! Ты знаешь, что мы сделаем? Ты ищи для дома Огурцова другого покупателя, не Огурцова, а я поищу для Огурцова другого дома не огурцовского. Ну?

Глаза печального Яши вспыхнули радостью, гордостью и нежностью к младшему брату.
– Абрам! К тебе пришла такая гениальная идея, что я... сегодня плачу за твой кофе!!

Незнакомец
(Борис Давидович Флит)
(1883–1937)



Поэт, писатель, сатирик. Родился в Кременчуге. В начале XX в. переехал в Одессу, где поступил вольнослушателем на факультет естественных наук Новороссийского университета, но вскоре оставил учебу и стал заниматься журналистикой (с 1904 г.). Свои произведения подписывал псевдонимом Незнакомец. Б. Флит был «достопримечательностью старой Одессы» – он в течение почти 20 лет публиковался в «Одесских новостях», авторами которых были Горький, Шолом-Алейхем, Бунин, Куприн, В. Инбер и многие другие. Но «звездным» изданием Б. Флинта стал одесский журнал «Крокодил», который в 1911–1912 гг. стали читать по всей России: в Москве, Нахичевани, Воронеже, Могилеве... Переехал в Москву, в 1935 г. был арестован, сослан. В 1937-м повторно арестован и расстрелян.

Одесский театрал

Одесса ужасно любит театр.

Одесса самый театральный город, конечно, после Петрограда, Москвы, Харькова, Киева, Воронежа, Екатеринослава, Тулы, Рязани, Тамбова, Елисаветграда и многих других российских городов.

Одесса боготворит театр, но при одном условии:

– «По контрамарке».

Я всегда удивлялся, бывая в театре (конечно, по контрамарке), с каких же доходов существуют театры и почему до сих пор антрепренеры не покончили жизнь самоубийством?

Каждый уважающий себя одессит обязательно достает контрамарку для себя, для своей семьи до седьмого колена и для всех своих знакомых.

Если вы откажете ему в его священном праве контрамарки, – одессит считает себя искренне оскорбленным. Ему даже не жаль денег на билет – он истратит в кабаре в сто раз больше, но платить за билет в театр для него просто невыносимо и обидно:

– Что, я не имею ничего общего с искусством, – говорит одессит, – чтобы я платил за билет? Я не хам какой-нибудь, я хорошо знаком с парикмахером из фарса и имею, кажется, право сидеть в первом ряду по контрамарке.

Но это еще не все.

Одесский зритель, как платный, так и бесплатный, – все уже видел и его ничем не удивишь.

Дайте ему, например, сейчас Цесевича, он только скорчит гримасу и скажет:

– Э, важная вещь? Я слышал самого Шаляпина.

Привезите ему завтра в Одессу Фокиных, он презрительно улыбнется:

– А Цукки я не видел? Ах, как она танцевала, Боже мой, как она танцевала. Так вы мне показываете Фокиных. Тоже интерес?

Привезите «художественников» в их лучших постановках, одессит отмахивается руками:

– Это ерунда, а вот когда у нас была труппа Соловцова...

Одесский театрал ничему не удивляется и ничем не восхищается. Впрочем, кроме тех артистов, которых создала сама Одесса.

– Хенкина и Утесова.

Это действительно непревзойденное, и выше этого нет ничего в искусстве.

Артисты боятся Одессы пуще огня и моря.

– Одесса... это такой город, это такой город... – говорят артисты, перефразируя Салтыкова, – географии не знает, арифметики не знает, но кровь кому угодно пустит.

Одессит страшный любитель музыки, но он в один год похоронил филармонию и похерил оперу в Городском театре.

Из всех видов театрального искусства Мельпомены, Талии и Терпсихоры одессит предпочитает кино, причем сидит сразу два сеанса не столько из интереса к картине, сколько потому, чтобы дома не жечь электричества, и просто чтобы его видело как можно более людей.

Когда-то, правда, Одесса любила театр и хвасталась:

– У нас первая опера в мире.

– У нас же драма, так в Ковентгарденском театре нет такого балета, как наша драма.

Вообще в Одессе был век расцвета театра, но он давно прошел и его с успехом заменил век расцвета валюты.

1919

Одесские «Театралы»

У одесского дельца, вечно куда-то спешащего, размахивающего руками и отрывающего у вас во время разговора от избытка энергии пуговицу от пальто, я как-то спросил:

– Бываете в театре?

– Где? – изумился он, как будто наскочивши на гвоздь.

– В театрах бываете? Вот у вас хорошая драма, что бы там ни говорили. Посещаете вы ее?...

– Вы с умом или вы без ума? – ответил он вопросом на вопрос. – Вечером же у Робина биржевые собрания, – так куда я пойду, в театр или на биржу? Форменный идьёт! – Дружески попрекнул он меня. – Оставьте ваши декадентские штучки, – перебил он меня. – Что вы скажете лучше на батумскую биржу?

– А что такое?

– Боже мой, он не читал? Ведь там фунты по 730...

– Чего фунты? – наивно спросил я.

– Боже мой, чего? Это какой-то «наивник», а не одессит. А франки там 22...

– Чего 22? – опять спросил я.

– Боже мой, он вовсе не следит за литературой...

– Вы посмотрите хоть «Темное пятно». Чудесная, сочная, изящная комедия.

– Оставьте, на что мне темное пятно? Если бы оно было масляное или хотя бы керосиновое...

* * *

– Почему, – спросил я одесского интеллигента, – вы не ходите в театр?

– Неужели вы забыли завет Белинского: «Идите в театр, умрите в театре»?

– Какого Белинского? – удивился он. – Ах да, в Одессе улица есть. Знаменитый трагик? Ну, знаете ли, теперь надо это изречение изменить: «Идите в театр, умрите после театра».

– Это почему?

– А попробуйте не отдать добровольно вашего пальто? Останетесь в живых? Нет уж? не пойду я лучше в театр... О пьесе я прочту рецензию и всегда смогу сказать, что я был в театре...

* * *

Одесская театралка объяснила мне, почему она не ходит теперь в театр:

– Нельзя раздеваться! – Холодно! Ну как же я надену платье с большим декольте. Бриллианты мне мой Сенечка тоже не разрешает по вечерам надевать. Он говорит – не для того я трудился и «делал» кофе, перец, изюм, чирсы, дрова, чтобы ты возвращалась из театра...

Так он таки прав, если не хочет, чтобы я ездила в театр. На днях мадам Цыпоркес возвращалась из театра, так у нее уши с серьгами вырвали. Ушей, конечно, не жалко, но серьги в 3 квадрата. А квадрат теперь 40 тысяч.

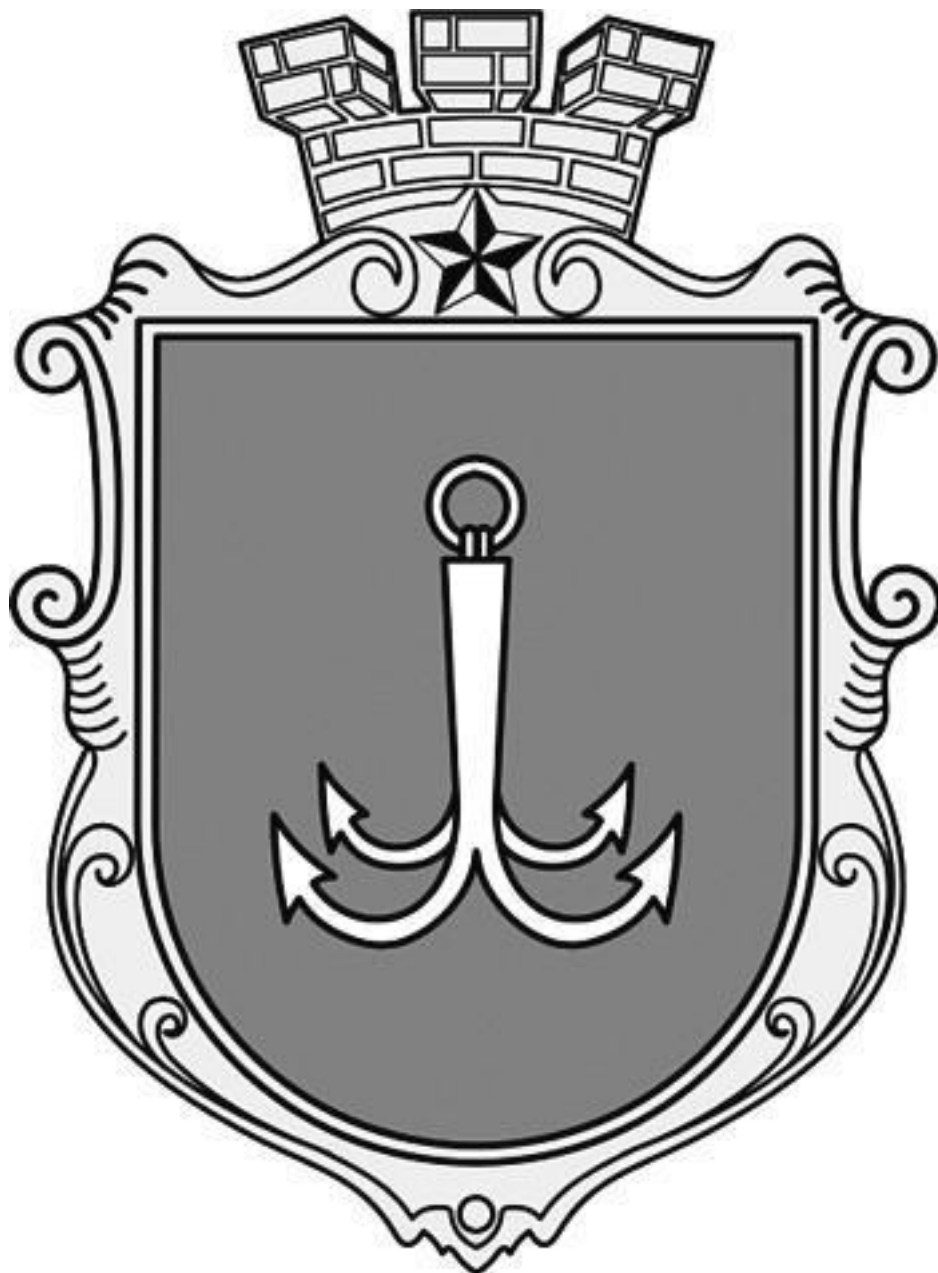
Я очень люблю театр, но подумайте сами...

Театралка упорхнула, мило сделав мне ручкой.

Бедные одесские театры!..

1919

Александр Биск



Одесская Литературка (Одесское Литературно-Артистическое Общество)

(отрывок)

Единственный источник, где я мог бы почерпнуть кое-какие сведения – мои собственные старые бумаги, но... мое литературное имущество честно поделили между собой большевики в 1920 г. в Одессе и Гитлер в 1940 г. в Брюсселе.

<...>

Человек – животное эгоцентрическое, поэтому и я буду говорить не о том, что вообще было, а лишь о том, что я сам видел. Пусть это будет не историей, а матерьялом для истории Одесского Литературно-Артистического Общества. Я расскажу о том, чего я был вначале только зрителем, в чем позже сам принимал близкое участие. Придется мне говорить и о всяких пустяках, и вспомнить старые анекдоты, но вся жизнь состоит из пустяков, и, суммируя их, мы получим картину эпохи. Конечно, мы с вами не останемся в стенах одной лишь Литературки, а выйдем и на Дерибасовскую, посидим у Робина, поедем на Фонтан и пойдем в гости к старым друзьям: нельзя говорить об Одесской Литературке, не упоминая об Одессе.

<...> я впервые узнал о существовании Литературно-Артистического Общества, где устраивались рефераты с прениями. Я решил пойти туда, но это было не так просто, т. к. по распоряжению административных властей, вход студентам в Литературку был воспрещен. Мое студенческое самолюбие было уязвлено, но пришлось покориться и... надеть штатское платье.

Литературка помещалась тогда в особняке, в одном из самых поэтических уголков Одессы: на том коротком отрезке Ланжероновской улицы, который находится между Думской площадью и обрывом над портом. В тот вечер реферат читал человек небольшого роста, жгучий брюнет, в очках, приехавший только что из Италии. Говорил он очень увлекательно, с необыкновенным жаром, сильно жестикулируя, не помню уж на какую тему. Мне сказали, что это – молодой журналист по псевдониму Altalena. <...> Altalena стал вскоре любимцем одесской публики в качестве фельетониста «Одесских новостей». Вскоре я узнал и его настоящее имя: Владимир Жаботинский. Время было подлое, подцензурное, писать на общественные темы не приходилось. Помню фельетон Altalena о воротничках Мей и Эдлих. Были тогда такие бумажные воротнички. Altalena говорил, что когда он видит их на бедном студенте, он в своей душе благодарен и студенту, и Мею, и Эдлиху, но когда их надевает франт с претензией на элегантность, это становится нестерпимым.

В другом игривом фельетоне он рассказывает, как барышня, собираясь со студентом на Фонтан, переодевается, и когда мать спрашивает ее, для чего она меняет блузку, она отвечает: «Ах, мама, не могу же я ехать кататься со студентом в кофточке, которая расстегивается сзади. Это невежливо». Этот фельетон Жаботинский позже включил полностью в свой роман «Пятеро».

<...> На поэтическом горизонте Одессы светила тогда звезда Дмитрия Цензора, стихи его регулярно появлялись в Од. Нов. Это был талантливый поэт, который нутром почувствовал дух эпохи. Я говорю «нутром», потому что об его умственных качествах мы были другого мнения. Когда во время винта нужно было ругнуть партнера, мы говорили ему: «Глуп, как Цензор», ходили также слухи, что лучше всего он пишет стихи между борщом и мясом.

В «Одесском Листке» царил Дорошевич, который писал фельетоны «за день». У Робина была сочинена загадка: какая разница между Дорошевичем и проституткой? Ответ: проститутка получает за ночь, а Дорошевич за день. <...>

Чуковский печатал в Новостях поэму «Современный Евгений Онегин». Там описывалась и Литературка. Помню, к сожалению, только 2 строчки:

И Цензор, дерзостный поэт,
Украдкой тянется в буфет.

<...>

В 1903 г. <...> я решил, что мне пора попытаться попасть в «Одесские Новости», что являлось моей заветной мечтой. Редактором «Одесских Новостей» был Израиль Моисеевич Хейфец. Молодежь боялась его, как огня. Хейфец был строг и сух, и не любил много разговаривать. «Что, стихи? Посмотрю. До свидания.» Рукопожатие, и вам оставалось только уйти. К моему удивлению, стихи были немедленно напечатаны и с тех пор регулярно появлялись в

субботних иллюстрированных приложениях. В то же приблизительно время начала печататься в «Одесских Новостях» и молодая поэтесса – Иза Кремер. Я помню одну из ее первых вещей, кажется, перевод с польского:

У Богуша в комнате – Анки портрет,
У Анки – портрет Станислава.
Для Богуша в Анке – все счастье, весь свет,
Другому же Анка – забава.
Но Анка слепа и не знает, о нет,
Что рядом – любовь и отрава.
У Богуша в комнате Анки портрет,
У Анки – портрет Станислава.

Господа, оцените все эти матерьялы. Вы их не найдете ни в какой книге.

Одесские барышни с трепетом ожидали субботнего номера, стихи входили в моду. Все декламировали:

Она пришла, такая смелая,
Она легла со мною рядом.

<...> С 1906 до 1911 г. я жил за границей, большей частью в Париже. Я продолжал печататься в «Одесских Новостях», но связь с Литературкой была прервана. В Одессе всходили новые звезды, молодые друзья превращались в серьезных литераторов. Будущий литературовед, Леонид Гроссман, уже читал запоем, переводил французских поэтов и, наряду с этим, воспевал дачу Вальтуха, место наших летних встреч, где рождалось столько литературных споров, чаяний и надежд.

Когда, осенью 1911 г. я вернулся в Одессу, я застал многих старых друзей на новых местах. Камышников был уже редактором молодой газеты «Южная Мысль». Я стал писать в этой газете, конечно на литературные темы. Журналистом, т. е. человеком, который может писать сколько угодно на любую тему, в особенности на такую, о которой он не имеет ни малейшего понятия, я никогда не был. Впрочем, должен оговориться, бывали и такие случаи. Однажды, в 2 ч. дня мне звонят из редакции: завтра – юбилей Случевского, надо немедленно доставить статью. На 4 ч. у меня был назначен в Литературке покер. Партия в покер была для меня милее всех Случевских. Времени для справок не было. Случевский – поэт второстепенный, я знал наизусть только одно его стихотворение «Смертная казнь в Женеве», да, пожалуй, то, что наши символисты считают его одним из своих предтеч. Стихи, действительно, вполне декадентские. Короче говоря, я написал целый подвал, послал его в редакцию, и на покер не опоздал.

В «Южной Мысли» начал писать талантливый фельетонист в стихах, Эмиль Кроткий. Имя его я недавно встречал в советских журналах. О Кротком, немного грешившим многословием, всем знакомый Незнакомец, фельетонист Одесских Новостей, говорил, что он Кроток, но не Краток.

Издателем «Одесских Новостей» был в то время Яков Григорьевич Натансон. Когда-то он был бедным студентом, затем женился на богатой помещице, стал носить ассирийскую бородку, завел прекрасный автомобиль и купил издательство «Одесских Новостей». Коммерсантом он был неважным, дела пошли плохо, пришлось продать и автомобиль. О нем говорили, что Одесские Новости поставили его на ноги, потому что раньше он ездил в автомобиле, а затем стал ходить пешком.

Редактором Одесского Листка был Сергей Федорович Штерн, теперешний председатель Одесского землячества в Париже. В Литературке я встречал его редко, б. может, потому, что председателем Литературки был редактор «Одесских Новостей» Израиль Моисеевич Хейфец. Но Хейфец был умным деловым человеком, который знал, что надо всех удовлетворить. Поэтому бланки, билеты, программы Литературки заказывались в типографии Одесского Листка, а не Одесских Новостей. Хейфец, помимо прочего, был выдающимся театральным рецензентом. Рецензии его, подписанные Старый Театрал надолго оставались в памяти одесситов. Он настолько строго относился к своим обязанностям, что не хотел знакомиться с артистами, чтобы быть в своих писаниях независимым от личных впечатлений. В доме его я встречал многих служителей искусства, но не могу вспомнить среди них ни одного драматического артиста.

Иза Кремер была к тому времени примадонной одесской оперы и женой Израиля Моисеевича. Сам Хейфец, когда-то страшный редактор, стал моим партнером по открытому винту. По вечерам к Хейфецу часто приходил Линский, который, кроме художественных способностей обладал и специальным талантом – умением артистически разыгрывать людей по телефону. Иза Кремер усердно помогала ему в этом; не знаю, кто из них был талантливее на этом поприще, впрочем умели они разыграть и друг друга. Однажды Линский принес Изе в день рождения какую-то статуэтку и заявил: Я знаю, Иза, что ты любишь Копенгаген. Так вот, я тебе принес не Копенгаген.

Как я сказал, Израиль Моисеевич Хейфец был уже тогда председателем Литературки и оставался на этом посту до 1920 г., т. е. до самой эвакуации. Исаак Абрамович Хмельницкий был товарищем председателя и председателем литературной секции, в которую мне предложено было вступить. Скоро я стал секретарем этой секции. Мы работали очень усердно. Доклады устраивались еженедельно. Членом Литературной Секции был, между прочим, Семен Юшкевич, которого в то время, к сожалению, уже не удовлетворял сочный реализм его прежних произведений. Он начал пускаться в туманную символику. В литературной секции работал и Горский, о котором я уже говорил. В эпоху революции он много писал против большевиков. Они и расстреляли его одним из первых в 1920 г.

Кроме лекций, Литературка устраивала регулярно музыкальные вечера, а также чтения стихов. Я старался пропагандировать новые стихи; в частности, заставлял очаровательную артистку Женю Никитину читать при каждом случае стихи Анны Ахматовой. Ахматова от этого не много выиграла, но публика не взыскательна, когда на эстраде появляется красивая женщина.

<...>

Не могу пропустить и имени Уточкина. Как известно, он сильно заикался; вместе с тем, он очаровательно рассказывал анекдоты. У его брата был роман с шансонетной певицей Бергони, так называемой «королевой бриллиантов». Сережа Уточкин говорил о себе: «Мне не плохо, у меня брат к-король брильянтов.» <...>

Приезжали как-то в Одессу наши футуристы: Маяковский в желтой кофте; Бурлюк, Анатолий Каменский с раскрашенными лицами. Они устроили бурный вечер, кажется в театре Сибирякова; публику и нас, отсталых, они осыпали бранью. Впрочем, после вечера все они отправились в буржуазную Литературку, где вполне прилично ужинали и даже играли в карты.

<...> Я упомянул о Пильском. Это была колоритная фигура, талантливый и яркий критик, но для того, чтобы вывести его на дорогу ясной мысли, нужна была бутылка красного вина. Тогда он начинал говорить о себе. Впрочем, в статьях он тоже больше всего писал о самом себе. Так, если он писал о Куприне, это было всегда: Пильский и Куприн.

С именем Пильского связано у меня воспоминание об одной из самых блестящих финансовых операций в моей жизни. Пильский брал у всех деньги взаймы. О возвращении долга не могло быть и речи, и вряд ли кто претендовал на получение обратно данных ему денег. Я

прекрасно знал, что я не миную своей участи и в кармане у меня всегда было приготовлено 25 р. для Пильского. Как-то мы устраивали с ним вечер поэтов на Хаджибейском лимане. В последнюю минуту он подбегает ко мне: Александр Акимович, пожалуйста, дайте займы 10 р. Мне нужно галстук купить, я сейчас же на Лимане вам верну. По приезде на Лиман он повторил мне, что через 10 минут вернет мне долг. Я его не беспокоил, и заработал таким образом чистоганом 15 руб.

Не помню, в котором году Литературка перешла в собственное помещение в Колодезном переулке, но тут наступила война, я надел военную форму и снова порвал связь с Литературкой до Февральской революции, когда все запреты были сняты.

<...>

Я говорил все больше о литераторах и артистах, но с именем Литературки связаны и многие другие люди, ничего не писавшие, на сцене не игравшие, но которых я не могу выключить из моего рассказа.

Я упомяну моего старого друга, Моисея Сергеевича Сиркиса. Это был недоучившийся человек, не говоривший вполне грамотно ни на одном языке (об еврейском я судить не могу).

Тем не менее, Сиркис был тонкий ценитель музыки, это он сделал нас вагнерьянцами; он чувствовал живопись; его литературные идеи часто питали наши произведения. Помимо всего, это был необычайно остроумный человек. На наши похвалы он отвечал: у меня бездна вкуса и бездна в карманах. Постоянным местожительством его был Могилев – Подольск, его приезды были всегда праздником для нас. Никто его не называл по имени, прозвище его было «дядька». В один из его приездов в Одессе шла «Комедия брака» Юшкевича. Дядька сказал по этому поводу: у Вас в Одессе – комедия брака: мадам Циперович живет с г. Ицексоном, а мадам Ицексон живет с г. Рабиновичем, а вот у нас, в Могилеве, трагедия брака: у нас г. Соломончик живет с m-me Соломончик, а г. Хаймович живет с m-me Хаймович.

Он был нашим наставником в любовных похождениях, хотя про себя он говорил, что он гениальный теоретик, но плохой практик. Сам он успехом у женщин не пользовался и говорил с горечью: Женщины любят, чтобы их угощали ужинами; за это они угощают нас завтраками (от слова завтра).

Ему же принадлежало изобретение термина – котлетчицы. Так назывались девочки с Молдаванки и Пересыпи, которые попадали впервые в отдельный кабинет. Когда их спрашивали: Манечка, что вы будете есть, они отвечали: я знаю, пару свиных котлет и чашку шоколада. Дальше их идеалы еще не шли. Однако, Вера Стессель, одна из красивейших и остроумнейших одесситок, тоже пришедшая с Молдаванки, – дядя был в нее безнадежно влюблен – говорила ему: Нет, дядя, я начала прямо с цыплят.

Как известно, в Одессе был мыловаренный завод Сиркиса. Когда дядьку знакомили с кем-нибудь и он произносил свое имя, его обыкновенно спрашивали: Вы... из тех Сиркисов? На что он неизменно отвечал: нет; у того Сиркиса мыловаренный завод, а у меня завод мыльных пузырей. К сожалению, эта идентичность фамилий чуть не окончилась для дядьки трагично: при последних большевиках все богатые Сиркисы уехали, и чрезвычайка арестовала дядьку как Сиркиса. Пока разобрали в чем дело, он просидел четыре месяца. Ему удалось позже пробраться в Кишинев. Где ты, старый друг? Жив ли ты еще?

Другой завсегдатай Робина, некий Коган, у которого был даже литературный псевдоним: Петр Сторицын, хотя, кажется, он ничего не писал. Мы его считали полусумасшедшим, но у него была большая едкость в суждениях и умел он зло посмеяться и над самим собой. Он сам рассказывал про себя следующий случай: однажды он всю ночь пропьянствовал с Куприным и уже на последнем этапе, часов в 8 утра, Куприн обратил на него свой мутный взгляд и спросил: «А как, собственно, ваша фамилия?» И когда тот ответил: «Коган», Куприн сокрушенно заметил: Я так и думал. Об этом эпизоде мне рассказал Камышников.

Много людей прошло через Литературку, или, по крайней мере, через ее буфет. Артисты, режиссеры, критики, причем музыкальными критиками в Одессе были почему-то всегда врачи по венерическим болезням.

Одесское Литературно-Артистическое Общество и его обитатели – я говорю обитатели, потому что многие проводили в ней чуть ли не дни и ночи напролет; я знавал членов правления, которые приходили в Литературку ежедневно часа в 3 дня, и оставались там до утра – не за страх, а за совесть и за любовь – Литературное О-во подчас и одесской экспансивностью и бумом проявляло свою деятельность, но за этой шумихой оно совершало большую культурную работу. Не мало писателей считало наше Общество своей литературной колыбелью. Незачем говорить, что с окончательным воцарением большевиков, Литературка была растоптана, разгромлена и распущена. Но те, кто когда-то приходили туда – выступать или послушать других, или просто поболтать, почитать газету, поужинать, посплетничать, поиграть в карты никогда не забудут той дружеской уютной атмосферы, без которой трудно было жить, однажды привыкнув к ней.

Это было – свое, живое, родное, и потому так трогательно-любовно и фамильярно мы окрестили ее – наша Литературка.

IV. Акация

Александр Куприн
(1870–1938)



Знаменитый русский писатель. Родился в городке Наровчате. Жил и работал в Киеве, Севастополе, Одессе. Первым литературным опытом Куприна были стихи, оставшиеся неопубликованными. Первое напечатанное произведение – рассказ «Последний дебют» (1889). После революции эмигрировал. Жил в Ревеле (Таллине), затем в Гельсингфорсе (Хельсинки), потом в Париже. В 1937 г. по приглашению правительства СССР вернулся на родину. В его творчестве получили полное гражданство массовые темы грядущего века: научно-технические дости-

жения, профессиональный спорт, мир театральных кулис и цирковой арены, физиология криминала, проституции. Одесса «занимала в его сердце особое место» (Ксения Куприна).

Белая акация

Дорогой старый дружище Вася!

А я вас все ждал и ждал. А вы, оказывается, уехали из Одессы и не забежали даже проститься. Неужели вы испугались той потребительницы хлеба, которая, по моей оплошности, ворвалась диссонансом в наше милое трио (вы, Зиночка и я)?

Успокойтесь же. Это тип вам известный, по частям в разных местах хорошо вами описанный. Это – «Халдейская женщина», из семейства «собаковых», *species* – «халда *vulgaris*».

Удивляетесь ли вы тому, что спустя год после свадьбы я пишу таким тоном о своей собственной жене? Не удивляетесь ли еще больше тому, как это я, человек с большим житейским опытом, человек проницательный и со вкусом, мог заключить такое чудовищное супружество? Ведь вы все хорошо заметили – не правда ли? И это нестерпимое жеманство, изображающее, по ее мнению, самый лучший светский тон, и показную слащавую интимность с мужем при посторонних, и ужасный одесский язык, и её картавое сюсюканье избалованного пятилетнего младенца, и нелепую сцену ревности, которую она закатила нашей бедной, кроткой, изящной Зиночке, и ее чудовищную авторитетность невежды во всех отраслях науки, искусства и жизни, и пронзительный голос, и это безбожное многословие, заткнувшее нам всем рты, наконец, эту трижды дурацкую ссору, где полезло наружу все грязное белье нашей семейной жизни – одностороннюю ссору, потому что – вы помните? – кричала только она, а я молчал с видом христианского мученика, или, вернее, с видом побитой собачонки, давно привыкшей к жестокому и несправедливому обращению.

Но еще удивительнее причина, толкнувшая меня на этот злосчастный брак. Верите ли вы в колдовство? Ну, конечно, не верите. Так вот, в наши прозаические дни именно надо мной было совершено чудо, волшебство, очарование – называйте, как хотите. Я был отравлен, одурманен, превращен в слюнявого, восторженного и влюбленного идиота не чем иным, как этой проклятой, черт ее побери, белой акацией.

Вы помните, конечно, очаровательную весну у нас на севере, с ее тихими, томными, медленно гаснущими зорями, с несказанными ароматами трав и цветов, с соловьиными трелями, с отражениями звезд в спящей воде спокойной реки, между камышами... со всеми ее чудесами и поэзией? Здесь, на юге, нет совсем весны. Вчера еще деревья были бледно-серыми от покрывающих их почек, а ночью прошумел теплый, крупный дождь, и, глядишь, наутро все блестит и трепещет свежей зеленью, и сразу наступило южное лето, знойное, душное, назойливое, пыльное...

И цветы здесь ничем не пахнут, или, вернее, пахнут не тем, чем следует. В запахе сирени чувствуется примесь бензина и пыли, резеда отдает нюхательным табаком, левкой – капустой, жасмин – навозом.

Но белая акация – дело совсем другого рода. Однажды утром неопытный северянин идет по улице и вдруг останавливается, изумленный диковинным, незнакомым, никогда не слыханным ароматом. Какая-то щекочущая радость заключена в этом пряном благоухании, заставляющем раздуваться ноздри и губы улыбаться. Так пахнет белая акация.

Однако на другой день совсем другое впечатление. Вы чувствуете, что весь город, благодаря какой-то моде, продушен теми сладкими, терпкими, крепкими, теперешними духами, от которых хочется чихать и от которых, в самом деле, чихают и вертят носом собаки. На следующий день пахнет уже не духами, а противными, дешевыми, пахучими конфетами, или тем ужасным душистым мылом, запах которого на руках не выветривается в течение суток. Еще через день вы начинаете злостно ненавидеть белую акацию. Ее белые, висячие гроздья

повсюду: в садах, на улицах, в парках и в ресторанах на столиках, они вплетены в гривы извозчичьих лошадей, воткнуты в петлички мужчин и в волосы женщин, украшают вагоны трамваев и конок, привязаны к собачьим ошейникам.

Нет нигде спасения от этого одуряющего цветка, и весь город на несколько недель охвачен повальным безумием, одержим какой-то чудовищной эпидемией любовной горячки. Таково весеннее свойство этого дьявольского растения. Влюблены положительно все: люди, животные, деревья, травы и даже, кажется, неодушевленные предметы, влюблены старики, старухи и дети, гласные думы, хлебные маклеры, бурженники и лапетутники (две загадочные профессии, известные только Одессе), гимназисты приготовительного класса, телеграфные барышни, городские, горничные, приказчики, биржевые зайцы, булочники, капитаны кораблей, рестораторы, газетчики и даже педагоги. Какая-то неисследованная зараза, какой-то таинственный микроб заключен в аромате белой акации.

На коренных обывателей эта болезнь действует сравнительно умеренно, – так же, как на природных жителей Кавказа слабо отражается болотная лихорадка, или на европейцах – корь. Но свежему, приезжому человеку, особенно северянину, весенние цветы белой акации сулят преждевременную гибель.

Так случилось и со мной. Я нанял дачную комнатку на одном из бесчисленных одесских Фонтанов. У моих окон росла акация, ее ветви лезли в открытые окна, и ее белые цветы, похожие на белых мотыльков, сомкнувших поднятые крылья, сыпались ко мне на пол, на кровать и в чай. Когда я обосновался на даче, весенняя эпидемия была уже в полном разгаре. По вечерам на станцию трамвая выплывало все местное молодое население. Юноши и девицы ходили друг к другу навстречу целыми сплошными, тесными массами, подобно рыбе во время метания икры. И все смеялись, и ворковали, и грызли подсолнухи. Над вечерней толпой стоял оплошной треск семечек и любовный, бессмысленный говор, подобный болботанию тетеревов на токовище. И акация, акация, акация... Тут-то я и захватил мою болезнь, постигшую меня в самой тяжелой форме.

Она была дочерью той дамы, хозяйки столовой, где я питался скумбрией, баклажанами, помидорами и прованским маслом. Мать была толстая крикунья, с замасленной горой вместо груди, с красным лицом и руками. Она была дочерью той дамы, хозяйки столовой, где я питался скумбрией, баклажанами, помидорами и прованским маслом. Мать была толстая крикунья, с замасленной горой вместо груди, с красным лицом и руками прачки. Дочь присутствовала в столовой для украшения стола. У нее был свежий цвет лица, толстые губы, миндалевидные темные глаза и молодость. С матерью была она схожа так же, как два экземпляра одной и той же книги: экземпляр свежий и экземпляр подержанный. Но даже и это не остановило меня. Я уподобился летней мухе на липкой бумаге. Было и сладко и противно... и чувствовалось, что не улетишь.

О том, как я признался, как я сделал предложение мамаше и как нас повенчали, – я ничего не помню. У меня был жар в 60 градусов, вздорный бред, хроническое слюнотечение и на лице идиотская улыбка.

Очнулся я только осенью, когда настали холода...

А теперь прошел год, и опять осень. Идет дождь, ветер дует в щели окон. Белая акация, – черт бы ее побрал! – облысевшая, растрепанная, грязная, как старая швабра, свешивает беспорядочно вниз свои черные длинные стручья, и качает головой, и плачет слезами обиженной ростовщицы... А я предаюсь грустным размышлениям.

Жена моя говорит: «тудаю», «сюдаю» и «кудаю». Она говорит: «он умер на чахотку», «она выше от меня ростом», «с тебя люди смеются», «зачини фортку» (запри калитку), «я за тобой соскучилась».

Но ее уверенность во всех вещах мира необычайна, и она на мои поправки гордо отвечает, что одесский жаргон имеет такое же право на существование, как и русский.

Она знает все, решительно все на свете: литературу, музыку, светские обычаи, науку, и дрожит в ожидании очередного номера Пинкертона. Она считает признаком хорошего тона ходить каждый день на Николаевский бульвар или на Дерибасовскую и толкаться там бесцельно в человеческой тесноте и давке три или четыре часа подряд, щебеча и улыбаясь. Она любит яркие цвета в одеждах, шелк и кружева, но сама – неряха. Она хочет одеваться по моде, но так ее преувеличивает и подчеркивает, что мне стыдно с нею показаться на люди: мне все кажется, что ее принимают за кокотку. На улице она, как дома, ибо давно известно, что улица – родная стихия одессита.

Она скупа, жадна и обжора, она жестока и глупа, как гусеница, она терпеть не может детей и не уважает старости. Она ругается с женской прислугой, как извозчик, на их ужасном одесском жаргоне, и я вижу, что умственный уровень и такт моей жены и те же качества моей кухарки – одинаковы. Она наводняет мой дом своими бесчисленными родственниками с «Пересыпи» и «Молдаванки», и все они одесситы, и все они все знают и все умеют, и все они презируют меня, как верблюда, как выючную клячу.

Она читает потихоньку мои письма и заметки и роется, как жандарм, в ящиках моего письменного стола. Она закатывает мне ежедневно истерику, симулирует обмороки, столбняки, летаргический сон и пугает самоубийством. Она посылает по почте грубые, ругательные анонимные письма как мне, так и моим добрым знакомым. Она сплетничает обо мне с прислугой и со всем городом. И она же уверяет меня, что я – чудовище, сожравшее ее невинность и погубившее ее молодость. Она еще не бьет меня, но кто знает, что будет впереди?

Милый мой! Была бы в моих руках огромная, неограниченная власть – власть, скажем, хоть полицейская, – я приказал бы вырубить за одну ночь всю белую акацию в городе, вывезти ее в степь и сжечь. Вырывают же ядовитые растения, убивают вредных насекомых, сжигают зачумленные дома, и никто не видит в этом ничего диковинного!

Прощайте же, дорогой мой. Завидую вашей холостой свободе, и да хранит вас аллах от чар белой акации. Обнимаю вас сердечно.

Ваш – прежде вольный казак, а теперь старый мул, слепая лошадь на молотильном при-
воде, дойная корова – NN.

<1911>

Владимир Жаботинский *(1880–1940)*



Русский еврейский писатель, поэт, публицист, общественный деятель, один из лидеров сионистского движения. Родился и жил в Одессе. В 16 лет, даже не закончив гимназию, начал публиковаться в «Одесском листке», затем как корреспондент газеты был послан в Швейцарию и Италию. Высшее образование получил в Римском университете. В начале XX в. стал известен как поэт и переводчик. Познакомил русскую публику со стихами крупнейшего еврейского поэта того времени Х. Бялика. В 1903 г. участвовал в 6-м сионистском конгрессе в Базеле и

с этого момента начинает принимать активное участие в сионистском движении. Стал одним из создателей «Союза для достижения полноправия еврейского народа в России» (1905 г.). После Первой мировой войны поселился в Палестине. В 1921 г. был избран в руководство Всемирной Сионистской организации. Призывал создать еврейское государство в Палестине. Основные литературные произведения: «Самсон Назорей», «Пятеро», «Повесть моих дней», «Слово о полку».

Акация

Еще один май кончился, и опять отцвела акация. Кажется, ничто так не характерно для Одессы, ничто так ее не напоминает вдаль, как запах акации. Даже море. Во-первых, море на море не похоже: под Петербургом море бледное, подлинное, «малосольное», как где-то кто-то выразился, и напомнить наше море оно может только по контрасту; а где-нибудь в Мессине или у берегов Крита море опять-таки другое, гораздо лучше нашего, и, глядя на ту роскошную синеву, трудно перенестись мыслью на Ланжерон. Акация же, где бы ни пахла, пахнет одинаково. Во-вторых – убеждены ли мы, что всякий одессит обязательно знает море? Мой знакомый учитель в одной школе на Молдаванке опросил как-то свой класс, и оказалось, что четыре малыша, лет по семи-девяти, никогда не видали море. В этом нет ничего невероятного. Я знал в Риме людей, там родившихся и выросших, которые никогда за всю жизнь не были в соборе св. Петра.

Вообще человек далеко не так любопытнее, не так жаден до впечатлений, как это считается. Но нет такого жителя в Одессе, который не знал бы запаха акаций, если только есть у него нос и в носу запах обоняния.

Мне лично запах акации напоминает страшно много. Первое воспоминание восходит еще к далям глупого детства. Чудесное майское утро, акация пахнет, а я бегу в прогимназию узнать – как мы тогда выражались на милом тамошнем наречии – «или я принят в пригготовительный». Я очень волнуюсь. Во-первых, мне с вечера выстирали парусиновый костюм, а он за ночь недостаточно просох, поэтому мама велела мне идти в гимназию по солнечной стороне; я иду, и от моих подмышек и штанишек подымается пар, ergo, я сохну, но все-таки страшно: вдруг там учителя заметят, что я вохкий, и Бог знает что подумают? Это вопервых. А вовторых, я уже раз пять экзаменовался и в первые классы, и в пригготовительные, и в гимназию, и в реальное, и в погребальщики (это значит: в коммерческое, ибо тогда коммерсанты носили черную форму) – и все проваливался, и мне уже надоело провалиться. И вот я пришел. В классы еще не пускают, публика толпится на дворе. Я помещаюсь на солнечной стороне, подымаю руки на голову, чтобы под мышками лучше просыхало, и веду пока деловой разговор с соседом. Он уже матерый гимназист: второгодник из того самого пригготовительного класса. Оба мы – видные, хорошо известные в своем кругу коллекционеры: собираем «кардонки», т. е. верхние крышечки от папиросных коробочек. Оба люди опытные, с большим знанием биржи, но столкнуться трудно. За одну Одалиску Месаксуди он требует четыре бр. Поповых. По моему, это живодерство; кроме того, я ему указываю, что одалиска неумытая, на декольте у нее размазанная сажа: ясное дело, подобрал на улице. Он утверждает, что украл у брата студента: новехонькая; папиросы он высыпал, а коробочку украл; и совсем это не сажа, а тени, сделанные художником именно там, где полагается по анатомии. Он, конечно, не говорит, «анатомия» – он выражается гораздо определеннее, как прилично матерому гимназисту, и для убедительности божится: «Накарай меня Бог!». Я ему отвечаю на том же языке:

– Откогда (что значит: «с тех пор как») я собираю кардонки, не видал такого кадета. – Сам кадет! – отвечает он. («Кадет» означало тогда плута)

– А ты – гобелка, – отвечаю я. (А что значит это ругательство, и по сей день не знаю).

В это время нас зовут наверх. Там оказывается, что и я, наконец, принят. Я в восторге. Бросаюсь со всех ног – обрадовать домашних. Но прежде разыскиваю своего давнишнего соседа. Разыскиваю довольно долго. Он тут свой человек, знает все углы и закоулки, и я слышал только что его фамилию в списке получивших две передержки. Оказывается, он «сховался» и курит, выпросив бычка у коллеги-второгодника, только из третьего класса.

– Черт с тобою, говорю я, – на тебе все, что холишь, и давай сюда твое сметье.

Он берет у меня четырех братьев, дает мне одалиску, пускает мне дым в глаза и назидательно говорит:

– Скажи мерси, блохой закуси и больше не проси.

Тут я улыбаюсь до ушей и объявляю:

– А меня приняли!

Он смотрит на меня презрительно:

– Нашел чему радоваться. Дурак.

Но я едва бормочу сквозь зубы установленную формулу ответа: «Дурак? Твое имя так; мое прозвище, а твое родное». Мне не до него. Я мчусь домой в дикой радости, уже не разбирая солнечной и теневой стороны, а акация пахнет, пахнет во всю глотку.

Это воспоминание – из глупого детства. По мере того как я умнел и начинал понимать, сколь был горько прав мой скептический контрагент насчет того, что нечему радоваться, – по мере того и мои воспоминания о запахе акации начинают приобретать противоположный характер. Как только запахнет акацией, меня уже тянет не в храм науки, а из храма. Нас еще не распустили, и даже я знаю наверное, что учитель тако-то такойтович хочет меня сегодня врасплох вызвать на четвертную отметку. Нашел дурня! Я еще с вечера подговорил товарища. Мы встретимся на Старопортофранковской. Я аккуратно складываю книжки и даже – чтобы уж быть совершенно *en règle* – заранее изготавливаю записку: «Сын мой не явился такого-то мая по болезни» и виртуозно подписываюсь маминым росчерком. Ранец я оставляю у знакомого табачного лавочника и разыскиваю приятеля. Он уже, оказывается, подобрал на улице две «пересядки». Мы садимся на конку и едем к Ланжерону, словно князя какие-нибудь. Акация пахнет. Вы когда-нибудь ловили руками ящериц? Сбивали пряжкой пояса жестокую красную головку с колючего «турка»? Сомневаюсь даже, знаете ли вы, что это за цветок – «турка». И по массивам вы, должно быть, не лазили, и крабов не ловили. А мы ловили. (А мы «да» ловили, сказал бы я в то время.) Ловить крабов на массивах – дело тонкое. Для этого надо знать психологию краба. В психологии краба есть два элемента: во-первых, он вспыльчив, во-вторых, глуп. Надо навязать плоский камешек на веревочку и, завидя в глубине под массивом отдыхающего краба, спустить веревочку и стукнуть его камешком плашмя по спине. Тут и начинает работать психология. Так как он вспыльчив, то сейчас же обернется и изо всей силы защемит клешнями ваш камешек. А так как он глуп, то будет цепляться за камешек, покуда вы его тащите вон из воды.

Дома вы сказали, что из гимназии пойдете к товарищу списать письменный ответ по алгебре, так что вернуться можно под вечер. Но нельзя вернуться домой с дюжиной крабов в носовом платке: и на алгебру непохоже, и в хозяйстве неудобно. Следовательно, крабов надо пристроить. Это, опять, не для простецов дело: нужна фантазия и техника. Вот, у дверей бакалейной лавочки, стоят два открытых бочонка: один с солеными огурцами, другой с черной маслиной. От времени до времени выходит лавочник с покупателем, запускает руку в бочку, и вытаскивает, что требуется; если покупатель брезгливый, лавочник не обижается: пожалуйста, выгребайте сами. Товарищ мой задерживает хозяина внутри, торгуясь на три копейки башмалы (как это сказать по-русски, но так же кратко?), а я тем временем колонизирую крабов: парочку в огуречный рассол, парочку под верхний слой маслин. Авось не задохнутся до ближайшего покупателя. Подальше стоит степенного вида господин, видно, ждет кого-то, поглядывая на

окно второго этажа, а сам опирается на зонтик. Степенный господин, а неряха: не скрутил зонтика, черная ленточка с пуговичкой повисла зря, и фалды между проволочными ребрами пригласительно зияют. Туда мы и пристраиваем еще одного краба. Еще одного кладем вверх животиком на сиденье дрожек: дрожки стоят у парадного входа, сейчас выйдет седок – даст Бог, это будет дама в легком майском платье, подходящем для сезона акации.

Все сильнее пахнет акация по мере того, как сиреневеют сумерки, в домах позажигали лампы, с улицы видно, что кто делает в нижнем этаже. Вот сидит, через дорогу, девица у пианино; окно раскрыто, и исполняет она полонез Огинского. Мой товарищ останавливается, и я вижу ясно ореол внезапного вдохновения под его козырьком. Осенило! Улица пуста. Он тщательно выбирает краба, тщательно захватывает его тремя пальцами так, чтобы и держать его горизонтально, и под клешню не попасть. Он изгибается – так как надо, если хочешь пустить плоский камень по морской ряби, чтобы он семь раз подпрыгнул рикошетом. Размахнулся – я замираю – и краб, перелетев через тротуар, улицу, еще тротуар, окно и полкомнаты, плашмя шлепается на третью октаву слева и дает смелый аккорд, сверхвагнеровский аккорд из четырех последовательных нот, не считая двух дизезов. А акация пахнет, как сказанная.

* * *

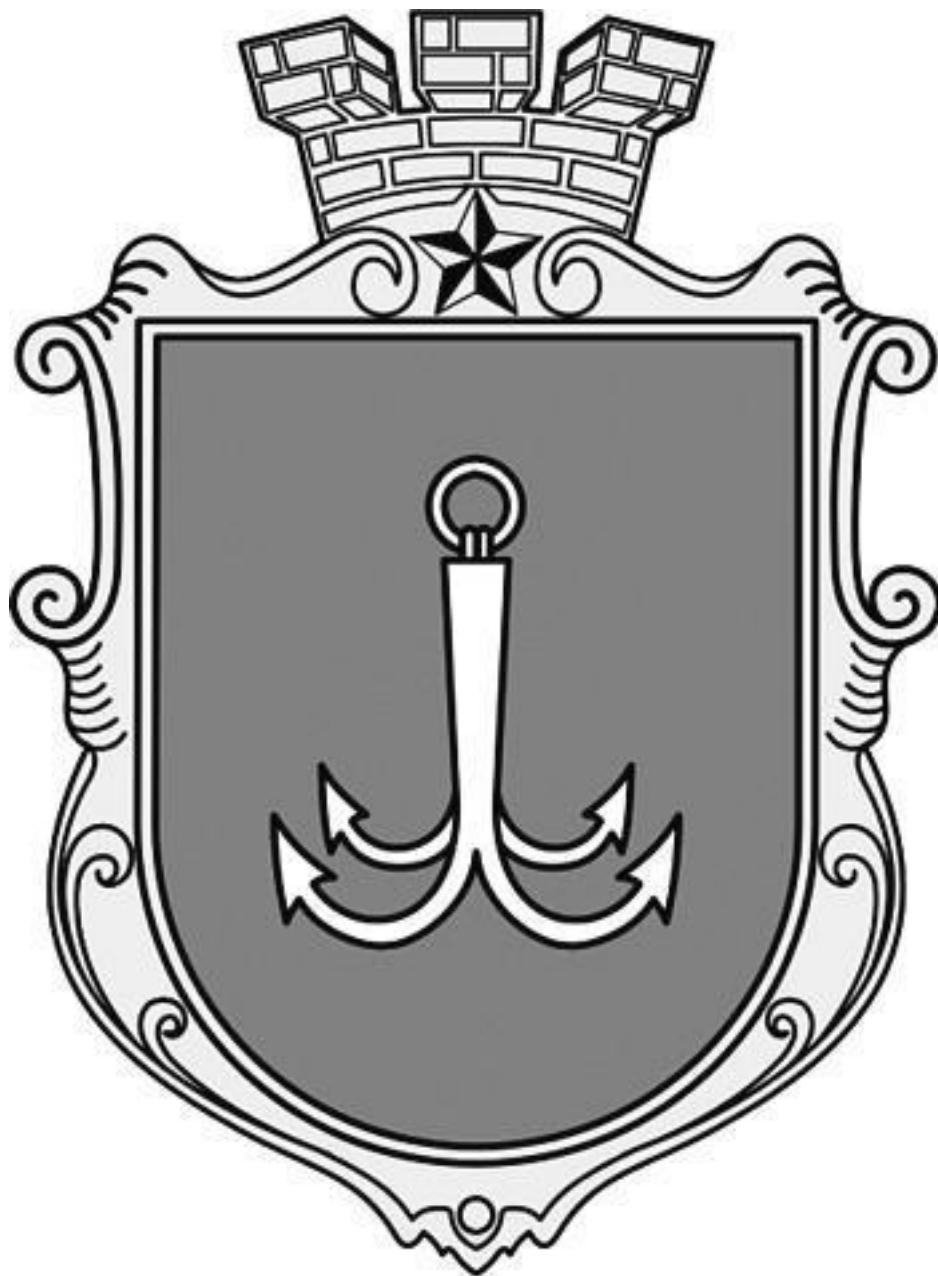
Потом... потом наступает такое время, когда одного запаха акации недостаточно, а должна еще непременно светить луна. Как зовут барышню, это, конечно, секрет, таких вещей не рассказывают, но у нее длинная коса и славные глазки, сто милостивых ужимок и легкий, добрый, уступчивый характер: если с ней хорошенько подружиться и не делать грубостей, то и она не станет особенно воевать за свою неприкосновенность. Она вообще не интересуется мелочами. Как поэт сказал: «ты не спрашивай, не распытывай, как люблю тебя, и за что люблю, и надолго ли». Она и сама не отрицает, что вы в ее шестнадцатилетней биографии не первый, и от вас не спросит никакой присяги и не потребует никаких лишних церемоний. Угостить ее можно мороженым или просто семечками, а вместо поднесения пышных букетов надо просто хорошенько подпрыгнуть на ходу и сорвать большую кисть акации. Тогда она вам позволит собственными руками приколоть эту пахучую кисть к ее тоненькой блузке. А дальше вы уже сами должны понять и найтись.

Каждый год отцветает акация, и что-то умирает. Вероятно, умирает только наша молодость, но почему-то нам кажется, что на белом свете постепенно убывает молодость вообще, нет уже той серебристой беззаботности у поколений, занявших теперь наше недавнее место на пороге жизни, город стал скучный и мрачный, и надежда померкла над землею. Только пахнет акация, как пахла всегда, и напоминает невозвратимое.

1911

V. Начало века

Владимир Жаботинский



Пятеро

(главы)

II. Сережа

Кто-то мне сказал, что фамилия рыжей барышни Мильгром; и, уходя из театра, я вспомнил, что с одним из членов этой семьи я уже знаком.

Встретились мы незадолго до того летом. Я гостил тогда у знакомых, доживавших конец августа на даче у самого Ланжерона. Как-то утром, когда хозяйева еще спали, я пошел вниз купаться, а потом задумал погрести. У моих друзей была плоскодонка на две пары весел; я кое-как сдвинул ее в воду с крупнозернистого гравия (у нас он просто назывался «песок»), и только тогда заметил, что кто-то ночью обломал обе уключины на правом борту. Запасных тоже не оказалось. Нелепые были у нас на побережье уключины – просто деревянные палочки, к которым веревками привязывались неуклюжие толсторукие весла: нужно было мастерство даже на то, чтобы весла не выворачивались, не шлепали по воде плашмя. Зато никакого не нужно было мастерства на построение такой уключины: обстругать сучок. Но мне это и в голову не пришло. Наше поколение словно без пальцев выросло: когда отрывалась пуговица, мы скорбно опускали головы и мечтали о семейной жизни, о жене, изумительном существе, которое не боится никаких подвигов, знает, где купить иголку и где нитки, и как за все это взяться. Я стоял перед лодкой, скорбно опустил голову, словно перед сложной машиной, где что-то испортилось таинственное, и нужен Эдисон, чтобы спасти пропащее дело.

В этой беде подошел ко мне гимназист лет семнадцати на вид; потом выяснилось, что ему едва 16, но он был высок для своего возраста. Он посмотрел на обломки уключин деловитым оком бывалого мужчины, и задал мне деловито вопрос:

– Кто тут у вас на берегу сторож?

– Чубчик, – сказал я, – Автоном Чубчик; такой рыбак.

Он ответил презрительно:

– Оттого и беспорядок, Чубчик! Его и другие рыбаки все за босявку держат.

Я радостно поднял голову. Лингвистика всегда была подлинной страстью моей жизни; и, живя в кругу просвещенном, где все старались выговаривать слова на великорусский лад, уже давно я не слышал настоящего наречия Фонтанов, Ланжерона, Пересыпи и Дюковского сада. «Держат за босявку». Прелесть! «Держат» значит считают. А босявка – это и перевести немислимо; в одном слове целая энциклопедия неодобрительных отзывов. – Мой собеседник и дальше говорил тем же слогом, но беда в том, что я-то родную речь забыл; придется передавать его слова по большей части на казенном языке, с болью сознавая, что каждая фраза – не та.

– Погодите, – сказал он, – это легко починить.

Вот был передо мною человек другой породы, человек с десятью пальцами! Во-первых, у него оказался в кармане нож, и не перочинный, а финка. Во-вторых, он тут же раздобыл и древесный материал: оглянувшись, нет ли кого в поле зрения, уверенно подошел к соседней купальне со ступеньками и выломал из-под перил нижнюю балясину. Сломал ее пополам о колено; половинку обстругал; примерил, влезет ли в дырку, опять постругал; выколупал кочерыжки старых уключин и вставил новые. Только недоставало, чтобы завершил стихами: «ну, старик, теперь готово...». Вместо того он, с той же непосредственной, прямо в цель бьющей деловитостью, предложил мне способ расплаты за услугу:

– Возьмете меня с собой покататься?

Я, конечно, согласился, но при этом еще раз взглянул на его герб и, для очистки совести, спросил:

– А ведь учебный год уже начался – вам, коллега, полагалось бы теперь сидеть на первом уроке?

– *Le cadet de mes soucis*⁸, – ответил он равнодушно, уже нанизывая веревочные кольца с веслами на уключины. По-французски это у него искренно вырвалось, а не для рисовки: я потом узнал, что у них у младших детей были гувернантки (но не у Маруси и не у Марко, отец тогда еще не так много зарабатывал). Вообще он не рисовался, и более того – совсем и не заботился о собеседнике и о том, что собеседник думает, а поглощен был делом: попробовал узлы на кольцах; поднял настил – посмотреть, нет ли воды; открыл ящик под кормовым сидением – посмотреть, там ли черпалка; где-то постукал, что-то потер. В то же время успел изложить, что решил показанничать, так как узнал от соученика, проживавшего пансионером у грека, т. е. у чеха, преподававшего греческий язык, что этот педагог решил сегодня вызвать его, моего нового друга, не в очередь к доске. Поэтому он оставил записку матери (она поздно встает): «если придет педель, скажи ему, что я ушел к дантисту», депонировал ранец у соседнего табачника и проследовал на Ланжерон.

– Компанейский человек ваша мама, – сказал я с искренним одобрением. Мы уже гребли.

– Жить можно, – подтвердил он, – *tout à fait potable*⁹.

– Только зачем же тогда ранец у табачника? Оставили бы дома, раз мать согласна.

– Из-за папы невозможно. Он все еще необстрелянный. До сих пор не может успокоиться, что я за него расписываюсь под отметками. Ничего, привыкнет. Завтра я всю записку напишу его почерком: «сын мой, Мильгром Сергей, пятого класса, не был такого-то числа по причине зубной боли».

Мы порядочно отъехали; он прекрасно греб и знал все слова на языке лодочников. Ветер сегодня опять разыграется часам к пяти, и не просто ветер, а именно «трамонтан»¹⁰. «Затабаньте правым, не то налетим на той дубок»¹¹. «Смотрите – подохла морская свинья», – при этом указывая пальцем на тушу дельфина, выброшенную вчера бурей на нижнюю площадку волнореза недалеко от маяка.

В промежутках между мореходными замечаниями он дал мне много отрывочных сведений о семье. Отец каждое утро «жарит по конке в контору», оттого он и так опасен, когда не хочется идти в гимназию – приходится выходить с ним из дому вместе. По вечерам дома «толчок» (т. е., по-русски, толкучий рынок): это к старшей сестре приходят «ее пассажиры», все больше студенты. Есть еще старший брат Марко, человек ничего себе, «портативный», но «тюньтя» (этого термина я и не знал: очевидно, вроде фифана или ротозея). Марко «в этом году ницшеанец». Сережа про него собственноручно сочинил такие стихи:

Штаны с дырой, зато в идеях модник;
Ученый муж и трижды второгодник.

– Это у нас дома, – прибавил он, – моя специальность. Маруся требует, чтобы про каждого ее пассажира были стихи.

<...> К маяку, я забыл сказать, мы попали вот как: завидя дубок, на который мы бы налетели, если бы он не велел «табанить», Сережа вспомнил, что теперь у Андросовского мола полным-полно дубков из Херсона – везут монастырские кавуны.

⁸ Меньшая из моих забот (*фр.*).

⁹ Вполне терпимо (*фр.*).

¹⁰ Трамонтан (от итальянского *tramontane*) – в Причерноморье и Приазовье: северный ветер.

¹¹ Дубок – распространенное на Черном и Азовском морях парусное деревянное судно.

– Хотите, подадимся туды? Там и пообедаем: я угощаю.

Очень уютно и забавно было мне с ним, а на даче лодка никому до вечера не могла понадобиться; к тому же он обещал на обратный путь подобрать «одного из обжорки», тот будет грести, а я отдохну. Я согласился, и мы «подались» в порт, обогнув маяк и потратив на это дело часа три, из-за ветра и зыби и необходимости каждые полчаса вычерпывать из-под настила все Черное море.

– Сухопутные они у вас адмиралы, – бранился Сережа по адресу моих друзей, так нерадиво сохранивших лодку.

К пристани среди дубков пришлось пробираться сквозь давку, словно в базарные часы на Толчке: малые суда чуть ли не терлись друг о друга, и Сережа знал, что дубок, что баркас, что фелюка и еще пять или десять названий. Очевидно, и его тут многие знали. С палуб, загроможденных арбузами, раза три его окликнули ласково, приблизительно так:

– Ого, Сирожка – ты куды, гобелка? Чего у класс не ходишь, сукин сын? Как живется?

На что он неизменно отвечал:

– Скандибобером! – т. е., судя по тону, отлично живется. С одной «фелюки» ему, скаля белые зубы, молодец в красной феске что-то закричал по-гречески, и Сережа отозвался на том же языке; я его не знаю, но, к сожалению, разобрал окончание фразы – «тин митера су», винительный падеж от слова, означающего: твоя мамаша. В беседе со мной Сережа от этого стиля воздерживался. Впрочем, излагая мне свои взгляды на учениц разных одесских гимназий, он и раньше немного смутил меня своей фразеологией: самая шпацкая форма у Куракиной-Текели – фиолетовый цвет хорошо облегает, логарифмы сторчат, как облупленные!

У пристани он, отказавши мне строго в разрешении внести свой пай на расходы, сбегал куда-то и принес целый куль съестного. Тут же на лодке, окунув руки для гигиены в прорубь между арбузными корками, мы совершили самую вкусную в моей жизни трапезу. Но еще слаще еды было любоваться на то, как ел Сережа. Великое дело то, что англичане называют: *table manners*¹² – не просто умение держать вилку и глотать суп без музыкального аккомпанемента, а вообще «обряд питания», ритуал сложный, особый для каждого рода пищи и для каждой обстановки, свято утопанный поколениями гастрономической традиции. Что вилка? Немудрено, когда есть вилка, действовать так, чтобы и глядеть было приятно. Тут не только вилки не было, но она и вообще была бы неуместна. Бублик семитати¹³: Сережа его не сломал, а разрезал его по экватору, на два кольца, смазал оба разреза салом, соскреб с гляцевитой поверхности кунжутные семечки, – ровно, как опытный сеятель на ниве, рассыпал их по салу, опять сложил обе половинки и только тогда, не ломая, впился в бублик зубами. Тарань: Сережа взял ее за хвост и плашмя, раз десять, шлепнул о свой левый каблук, объяснив мне: «шкура легче слазит». Действительно, его тарань дала себя обнажить гораздо скорее и совершеннее, чем моя, хоть я над своею оперировал при помощи его финки; и я все еще подрезывал прозрачные соленые пласты на крепких иглах ее скелета, когда от его тарани давно только жирный след остался у него на подбородке, на щеках и на кончике носа. Но высшей вершиной обряда был кавун. Я стал было нарезать его ломтями; Сережа торопливо сказал: «для меня не надо». Он взял целую четвертушку, подержал ее перед глазами, любясь игрою красок, – и исчез. Пропал с глаз долой: был Сережа и нет Сережи. Предо мною сидела гимназическая форма с маской зеленого мрамора вместо головы. Зависть меня взяла: я со стороны почувствовал, что он в эту минуту переживает. Хороший кавун пахнет тихой водой, или наоборот, это безразлично; но утонуть, как он, в арбузе – все равно, что заплыть пред вечером далеко в морское затишье, лечь на спину и забыть обо всем. Идеал нирваны, ты и природа, и больше ничего. Зависть меня взяла: я схватил вторую четвертушку и тоже распрощался с землей.

¹² Правила поведения за столом (англ.).

¹³ Бублик семитати – одесское название бублика с кунжутом.

... Потом пришел тот «один из обжорки», и я невольно подумал по-берлински: «so siehste aus»¹⁴. Сережа его представил: Мотя Банабак. Тому было лет двадцать, но, несмотря на разницу возраста, это были, по-видимому, закадычные друзья. По дороге обратно я заснул и их беседы не слышал; но все остальное я вспомнил тогда, после театра, сидя за чашкой восточного кофе и блюдцем сирского рахат-лукума в любимой греческой кофейне на углу Красного переулка.

III. В «Литературке»

На субботнике, в литературно-художественном кружке, после концерта, пока служители убирали стулья для танцев в «виноградном» зале, Маруся, таща за рукав, подвела ко мне свою мать и сказала:

– Эта женщина хочет с вами познакомиться, но робеет: Анна Михайловна Мильгром. – Между прочим, надо самой представиться: я ее дочь, но она ни в чем не виновата.

Анна Михайловна подала мне руку, а Маруся, наказав ей вполголоса: «веди себя как следует», ушла выбирать себе кавалера; ибо закон, по которому это делается наоборот, не про нее был писан.

«Виноградный» зал так назывался потому, что стены его украшены были выпуклым переплетом лоз и гроздей. Помещение кружка занимало целый особняк; кому он принадлежал и кто там жил прежде, не помню, но, очевидно, богатые бары. Он находился в лучшем месте города, на самой границе двух его миров – верхнего и гаванного. До сих пор, зажмурив глаза, могу воскресить пред собою, хоть уже сквозь туман, затушевывающий подробности, ту большую площадь, память благородной архитектуры заморских мастеров первой трети девятнадцатого века и свидетельство о тихом изяществе старинного вкуса первых строителей города – Ришелье, де Рибаса, Воронцова и всего того пионерского поколения негоциантов и контрабандистов с итальянскими и греческими фамилиями. Прямо предо мною – крыльцо городской библиотеки; слева на фоне широкого, почти безбрежного залива – перистиль думы; оба не посрамили бы ни Коринфа, ни Пизы. Обернись вправо, к первым домам Итальянской улицы, в мое время уже носившей имя Пушкина, который там писал Онегина; обернись назад, к Английскому клубу и, поодаль, левому фасаду городского театра: все это строилось в разные времена, но все с одной и той же любовью к иноземному, латинскому и эллинскому гению города с непонятным именем, словно взятым из предания о царстве «на восток от солнца, на запад от луны». И тут же, у самого особняка «литературки» (тоже по-братски похожего на виллы, которые я видел в Сиене), начинался один из спусков в пропасть порта, и в тихие дни оттуда тянуло смолою и доносилось эхо элеваторов.

В то подцензурное время «литературка» была оазисом свободного слова; мы все, ее участники, сами не понимали, почему ее разрешило начальство и почему не закрыло. Прямой крамолы там не было, все мы были так выдрессированы, что слова вроде самодержавия и конституции сами собой как-то не втискивались еще в наш публичный словарь; но о чем бы ни шла речь, от мелкой земской единицы до гауптманова «Затонувшего колокола», – во всем рокотала крамола. <...>

Оглядываясь на все это через тридцать лет, я, однако, думаю, что любопытнее всего было тогда у нас мирное братание народностей. Все восемь или десять племен старой Одессы встречались в этом клубе, и действительно никому еще не приходило в голову хотя бы молча для себя отметить, кто кто. Года через два это изменилось, но на самой заре века мы искренно ладили. Странно; дома у себя все мы, кажется, жили врозь от инородцев, посещали и приглашали поляки поляков, русские русских, евреи евреев; исключения попадались сравнительно редко; но мы еще не задумывались, почему это так, подсознательно считали это явление просто

¹⁴ Так и выглядит (нем.)...

временным недосмотром, а вавилонскую пестроту общего форума – символом прекрасного завтра. Может быть, лучше всего выразил это настроение – его примирительную поверхность и его подземную угрозу – один честный и глупый собутыльник мой, оперный тенор с украинской фамилией, когда, подвыпив на субботнике, подошел после ужина обнять меня за какую-то застольную речь:

– За самую печенку вы меня сегодня цапнули, – сказал он, трижды лобызаясь, – водой нас теперь не разольешь: побратимы на всю жизнь. Жаль только, что вот еще болтают люди про веру: один русский, другой еврей. Какая разница? Была бы душа общая, как у нас с вами. А вот Х. – тот другое дело: у него душа еврейская. Подлая это душа...

* * *

Анна Михайловна оказалась вблизи совсем моложавой госпожой с удивительно добрыми глазами; очень извинялась за выходку дочери – «вам не до старух, вы хотите танцевать». Я правдиво объяснил, что еще в гимназии учитель танцев Цорн прогнал меня из класса, обнаружив, что я никак не в состоянии постигнуть разницу между кадрилию и вальсом в три па. Мы сели в уголок за фикусом и разговорились <...>

Между танцами подбежала к нам Маруся; сказала мне, указывая на мать: «берегитесь, она форменная деми-вьерж¹⁵ – обворожить обворочит, а на роман не согласится»; и тут же сообщила матери: «весь вечер танцую с Н. Н.; влюблена; жаль, у него усы, но я надеюсь, что мягкие, царапать не будут», – и убежала.

– От слова не станется, – сказал я утешительно, думая, что Анна Михайловна смущена конкретностью этого прогноза; но она ничуть не была смущена.

– У девушек этого поколения, что слово, что дело – разница их не пугает.

– А вас?

– Всякая мать за всех детей тревожится; но меньше всего я тревожусь именно за Марусю. Вы в детстве катались на гигантских шагах? Взлетаешь чуть ли не до луны, падаешь как будто в пропасть – но это все только так кажется, а на самом деле есть привязь и прочная граница. У Маруси есть граница, дальше которой ее никакие усы не оцарапают – хотя я, конечно, не хотела бы знать точно, где эта граница; – но вот мой муж... Игнац Альбертович был много старше, полный, с бритым подбородком, в очках; я и по виду сказал бы, что хлебник¹⁶ – так и оказалось. Судя по акценту, он в русской школе не учился, но, по-видимому, сам над собою поработал; особенно усердно, как было еще принято в его поколении, читал немецких классиков – впоследствии цитировал на память чуть ли не страницы из Берне, а из поэтов особенно почему-то любил Шамиссо и Ленау. В результате был на нем отчасти тот неопределимый отпечаток, который мы передаем смешным словом «интеллигент»; слово столь же зыбкого содержания, как у англичан «джентльмен». У подлинного джентльмена могут быть невыносимо скверные манеры, как и настоящий интеллигент может спокойно, даже зевнув, обнаружить незнание Мопассана или Гегеля: дело тут не в реальных признаках, а в какой-то внутренней пропудренности культурой вообще. Но вместе с тем в Игнаце Альбертовиче прежде всего чувствовался человек из мира «делов», знающий цену вещам и людям и убежденный, что цена, вероятно, и есть самая сущность. Это все я узнал после, когда сошелся с семьей, хотя и в той первой беседе мне врезались в память некоторые его оценки.

Анна Михайловна сразу ему пожаловалась, что я в контору не хочу, а намерен «весь век остаться сочинителем».

– Что ж, – сказал он, – молодой человек, очевидно, имеет свою фантазию в жизни. <...>

¹⁵ Полу-дева (фр.)...

¹⁶ Купец, занимающийся хлеботорговлей.

VI. Лица

Летом Мильгромы жили на Среднем Фонтане. Дача находилась на десятой станции: достаточно для старого туземца назвать этот номер, чтобы восстала из забвения пред очами души его одна из характернейших картин нашего тогдашнего быта.

Если бы мне поручено было написать монографию о десятой станции, я бы начал изда- лека, и с сюжета чрезвычайно поэтического. Много раз уже, начал бы я, воспевали художники слова таинственную влекущую силу ночного серебряного светила, которой, говорят, послушны морские приливы (на Черном море высота прилива около вершка, но это к делу не отно- сится). Зато, насколько знаю, никем еще не воспет притягательный магнетизм светила днев- ного; а между тем, есть в природе одно существо, которое не только имя свое и самый облик заимствовало у солнца, но и активно правит ему свое богослужение от восхода до заката, все время поворачиваясь лицом к колеснице жизнедателя Феба, и т. д. – От подсолнечника моно- графия перешла бы к его семенам и подробно остановилась бы на значении этого института, не с точки зрения ботаники, ни даже гастрономии, но с точки зрения социальной. Символ плебейства, с презрением скажут хулители; но это не так просто. На десятой станции я видел не раз, как самые утонченные формации человеческие, модницы, директора банков, жандарм- ские ротмистры, подписчики толстых журналов, отрясая кандалы цивилизации, брали в левую руку «фунтик» из просаленной бумаги, двумя перстами правой почерпали из него замкнутый в серо-полосатую кобуру поцелуй солнца, и изысканный разговор их, из нестройной город- ской прозы, превращался в мерную скандированную речь с частыми цезурами, в виде пауз для сплевывания лушпайки. Этот обряд объединял все классы, барыню и горничную, паньча и дворника; и должна же быть некая особая тайная природная доблесть в тех точках земной поверхности, где совершается такое социальное чудо, – где обнажается подоплека челове- чская, вечно та же под всей пестротой классовых пиджаков и интеллектуальных плюмажей, и, на призыв дачного солнца, откликается изо всех уст единый всеобщий подкожный мещанин... Впрочем, это наблюдалось, главным образом, после заката упомянутого светила, так что сим- волизм той монографии вряд ли удалось бы выдержать последовательно; но основная мысль ее, настаиваю, верна. Характернейшей чертой десятой станции было то, что все там лужгали «семочки» (никогда и никто у нас этого слова иначе не произносил), и любили это занятие, и несметными толпами ежевечерне стекались туда на соборный этот обряд, и под аккомпане- мент его заключали договоры, обсуждали идеи, изливали влюбленную душу и молили о вза- имности... <...>

XIV. Вставная глава, не для читателя

<...> Летом наш берег... (Летом: что зимою, того я знать не хочу. Я очень люблю жизнь вообще, и свою жизнь особенно люблю и люблю ее припоминать, но только с апрелей до сен- тябрей. Зачем Бог создал зиму – не знаю. Он, бедный, вообще много напутал и лишнего натво- рил. Большинство моих знакомых уверяют, что им очень нравится снег: не только декора- тивный снег, верхушка Монблана, просто белая краска на картине, можно полюбоваться и отвернуться, – но будто бы даже снег на улицах им нравится; а по-моему, снег – это просто завтрашняя слякоть. Я помню только лето).

Летом наш берег, глядя с моря, представляет сочетание двух только цветов, желтого и зеленого; точнее – красно-желтого и серо-зеленого. Берег наш высокий, один сплошной обрыв на десятки верст; никак теперь издали не могу сообразить, выше ли двухсот футов или ниже, но высокий. Желтый песчаник его костяка редко прорывался наружу, обрывы больше облицо- ваны были той самой красноватой глиной, а на ней, в уступах или в расщелинах, росли рощи-

цами деревья и кусты. Что за порода преобладала, из-за которой общий облик получался чуть-чуть сероватый, не знаю; может быть, дикая маслина. Господи, какие чудеса палитры можно создать из двух только оттенков! Однажды с лодки я засмотрелся – в тот час солнце освещало обрывы под особенным каким-то углом – и вдруг мне представилось, что все это не глина и не листва, а все из металла. Спит у Черного моря, раскинувшись, великан, и это его медная кираса. Давным-давно спит, сто лет его поливали дожди, и во впадинах меди залегла густыми пятнами ярь. Как-то раз, уже много лет после разлуки с Одессой, я увидел эту самую радугу из двух цветов в Провансе и едва не запел от волнения, но в вагоне были чужие.

Настоящие каменные скалы помню только внизу, у самой воды или прямо в воде. Были и гранитные, где мы собирали креветок (их у нас называли «рачки») и миди, т. е. по-ученому «мидии». Но больше и скалы были из рыхлого песчаника; самая высокая называлась Монах, у Малого Фонтана, и каждый год море смывало по кусочку, теперь уже верно ничего не осталось. А еще были «скалы» из какой-то зеленоватой глины, мы ее называли «мыло», и в самом деле можно было отломать пригоршню и намылиться, даже в соленой воде.

Конечно, была и третья краска – море; но какая? Синим я его почти не помню, хорошо помню темно-зеленым, с золотистой подкладкой там, где сквозили полосатые мели. Кто-то удивлялся при мне, почему наше море называли Черным: а я своими глазами видел его черным, прямо под веслами и на версту вокруг, и не в бурю или в хмурый день, а под солнцем. Но, по моему, наше море надо было смотреть тогда, когда оно белое. Надо встать за час до восхода, сесть у самой воды на колючие голыши и следить, как рождается заря; только надо выбрать совсем тихое утро. Есть тогда четверть часа, когда море белое, и по молочному фону простелены колеблющиеся, переменчивые полосы, все тоже собственно белые, но другой белизны: одни с оттенком сероватой стали, другие чуть-чуть сиреневые, и редко-редко вдруг промерещится голубая. Постепенно восток начинает развешивать у себя на авансцене парадные занавески для приема солнца, румяные, апельсиновые, изумрудные – Бог с ними, я и слов таких не знаю по-русски; и, отражаясь, весь этот хор начинает, но еще смягченными, чуть-чуть отуманенными откликами, вплетаться в основную белую мелодию моря – и вдруг все загорится, засверкает, и кончено, море как море. Это я лучше всего видел, когда рыбак Автоном Чубчик вез меня с Марусей к ней на дачу после ночи у меня в Лукании; но я забегаю вперед.

В описаниях природы принято называть по именам растения; я когда-то умел, только имена были все, кажется, не настоящие. Был, например, плебейский красный цветок, на высоком стебле, а вокруг цветка колючий ошейник: его звали «турка» – идешь по тропинке и палкой сбиваешь турецкие головы; однажды я сбил три сразу одним ударом, как пан Лонгинус Подбипента, герба Зервикаптур, у Генриха Сенкевича. Или был такой куст, по имени «чумак»: если потереть листьями руки, они вкусно пахнут гречневой кашей. Лучше всего, однако, не ломать головы над именами: если просто лечь на спину и зажмурить глаза, одна симфония запахов крепче свяжет тебя навсегда с божьим садоводством, чем целый словарь наизусть.

Из божьего скотоводства самый прекрасный зверь у нас была ящерица. Оттого ли, что в Европе другая порода, или просто оттого, что сам я старею, но вот уже, сколько лет и сколько стран, ящерицы попадаются только серые. Наши на Черном море были пестрые: самоцветная смарагдовая чешуя, хвост и мордочка, а горло и брюшко в переливах от розового до золотистого. Однажды вечером, еще второклассники в Лукании, наловили мы нарочно десяток, заперли в крепости и битый час освещали их толстыми бенгальскими спичками, красными и зелеными; перепуганные зверьки то шмыгали от стенки к стенке, то застывали на месте, и такое было это пьяное празднество красок, какого я с тех пор и в столичных феериях не видел, где режиссеры почитались мастерами color scheme и антреприза не жалела тысяч.

Еще был один хороший занятный зверь, но совсем иной – краб, и жил он в подводных расщелинах массивов. Массивы – это громадные каменные кубы, которыми на много верст в длину облицованы берега, молы и волнорезы нашего порта; под ними ютились камбала и

бычок, даже скумбрия или паламида («или»: когда идет паламида, скумбрии не будет – паламида ее съела); но больше всего было крабов. Мы их удии при помощи камня, шпагата и психологии... но я уже где-то в старом рассказе это описал: и так слишком много повторяюсь. Посидеть бы теперь на массивах полчаса; я бы и крабов не стал беспокоить: только посидеть, свесив босые ноги, прикоснуться, как Антей, к земле своего детства.

Еще было одно Черное море, и даже Азовское при нем, с проливом, как полагается, но без воды: это были две большие котловины в Александровском парке, нарочно не засаженные ни деревьями, ни травой: там мы гурьбами играли в мяч... Господи, как это безжизненно выходит по-русски: «играли в мяч». Не играли, а игрались; не в мяч, а в мяча; даже не игрались, а гулялись; и в гилки гулялись, и в скракли, и в тепки; впрочем, и это я уже где-то описывал. Когда всю жизнь пишешь и пишешь, в конце концов слово сказать совестно. Ужасно это глупо. Глупая вещь жизнь... только чудесная: предложите мне повторить – повторяю, как была, точь-в-точь, со всеми горестями и гадостями, если можно будет опять начать с Одессы.

* * *

Кстати, уж раз передышка: та песня про «лаврика» столько вертелась у меня на пороге Памяти, так просилась на бумагу после того, как я мимоходом ее помянул, что я не выдержал: ночь отсидел, и приблизительно восстановил. Зато теперь буду считать ее своим произведением: по-моему, лучший из всех моих поэтических плагиатов. Правда, иногороднему читателю нужен для нее целый словарь – кто из них, например, слышал про «альвичка», разносившего липкие сласти в круглой стеклянной коробке? Но, в конце концов, я эту повесть и вообще не для приезжих написал: не поймут, и не надо. Вот та песня:

Коло Вальтуха больницы
Были наши дворы.
В Ньюты зонтиком ресницы,
Аж до рота й догоры.
Ей з массивов я в карманах
Миди жменями таскал,
Рвал бузок на трох Фонтанах,
В парке лавриков шукал.
Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Я свару тебе картошки.
Откогда большая стала,
Шо-то начала крутить:
То одскочь на три квартала,
То хотить и не хотить.
Я хожу то злой, то радый,
Через Ньюту мок и сох...
А вже раз под эстокадой
Мы купалися у-двох.
Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Горько мышке в лапах кошки.
На горе стоить Одесса,
Под низом Андросов мол.
Задавается принцесса,
Бо я в грузчики поишел.
Раз у год придет до Дюка,

Я вгощу от альвичка...
И – табань, прощай разлука:
Через рыжего шпачка.
Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Хто куплял тебе сережки?
Год за годом, вира-майна,
Порт, обжорка, сам один...
Только раз шмалю нечайно
Мимо Греца в Карантин —
У Фанкони сидить Нюта,
На ей шляпка, при ей грек.
Вже не смотреть, вже как будто
Босява не человек.
Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Разойшлись наши дорожки.

Дон Аминадо
(Аминадав Пейсахович Шполянский)
(1888–1957)



Поэт-сатирик, мемуарист. Родился и вырос в Елисаветграде, учился в Одессе и Киеве. Жил в Москве, где и начал писать. В 1914 г. в Москве опубликовал свою первую книгу. В 1918 г. уехал в Киев, а в начале 1920-го эмигрировал. Жил в Париже, сотрудничал с эмигрантскими изданиями. Книга мемуаров «Поезд на третьем пути», написанная в эмиграции, стала самым значительным его творческим наследием.

Поезд на третьем пути

(главы)

XI

Годы шли, а вокруг, на берегу самого синего моря, шумел, гудел, жил своей жизнью великолепный южный город, как камергерской лентой опоясанный чинным Николаевским бульваром, Александровским парком, обрывистыми Большим и Малым Фонтанами, счастливой почти настоящей Аркадией, и черно-желтыми своими лиманами, Хаджибеевским и Куяльницким.

С высоты чугунного пьедестала, на примыкавшей к морю площади, неуклонно глядела вдаль бронзовая Екатерина II, а к царским ногам ее верноподданные сбегались переулки – Воронцовский, Румянцевский, Чернышевский, Потёмкинский, и прямые, ровные, главные улицы, параллельные и перпендикулярные, носившие роскошные имена дюка де Ришелье, Дерибаса и Ланжерона.

Внизу, в порту, день и ночь работали черномазые грузчики, грузили золотое пшено на чужеземные суда, в жадно открытые корабельные пасти; пили мертвую в портовых кабаках; буйно гуляли, с бранью, криком, кровью и поножовщиной; и шибко, напропалую, торопливой матросской любовью любили, и щедрую платили дань, и смертным боем били недорогую, искусенную, мимолетную женскую красу...

Утопил девчонку,
Мутная вода...
Пожалей мальчонку,
Пропал навсегда!

А наверху, над портом, над красными пароходными трубами, рыбачьими судами, парусными яхтами, зернохранилищами и элеваторами, лебёдками и кранами, над всем этим копошившимся внизу муравейником, увенчанный осьмиугольной зелено-бронзовой главой, возвышался городской театр, гордость Одессы, а в театре, во все времена года, пели итальянские залётные соловьи, и звали их, как в либретто, – Сантарелли, Джиральдони, Тито Руффо, Ансельми и еще Марио Самарко, которого студенты окрестили Марусенькой, и подносили ему адреса, неизменно начинавшиеся латинской перифразой из знаменитой речи Цицерона:

Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra et rapere virgines nostras?!

(До каких пор, Катилина, будешь ты злоупотреблять терпением нашим и похищать девушек наших?!).

Певец посылал в ответ всё те же воздушные поцелуи и улыбался так, как улыбаются все баловни судьбы, и опять повторял, в который раз, из «Сельской чести»:

– *Viva il vino spumeggiante...*

Любовь к итальянской опере считалась одной из самых прочных и укоренившихся традиций в этом чудесном и легкомысленном городе, и наиболее просвещенные меломаны, как бы в оправдание своего неизменного пристрастия, не упускали случая напомнить забывчивым и просветить невежд:

– Ведь даже сосланный на юг России, сам Александр Сергеевич Пушкин услаждал свои невольные досуги столь частым посещением итальянской оперы, что генерал-губернатор Новороссии граф Воронцов, на отеческом попечении и под надзором коего он находился, обратил на это сугубое внимание...

Тем более, что появлялся поэт всегда в одной и той же ложе, принадлежавшей супруге почтенного сербского негодянта, смуглой красавице Амалии Рознич.

Ссылка Пушкина, ссылка на Пушкина, – после этой литературной цитаты, столь изысканной и столь красноречивой, умолкали даже самые строптивые старожилы, требовавшие «Князя Игоря», «Рогнеды» и полонецких танцев, а не слабосильных герцогов в напудренных париках и каких-то плебейских цирюльников, хотя бы и севильских...

* * *

Кроме портовых босяков и колоратурных сопрано, были в Одессе свои любимцы, знаменитости и достопримечательности, которыми гордились и восхищались, и одно упоминание о которых вызывало на лица неподдельную патриотическую улыбку.

Так, например, пивная Брунса считалась первой на всем земном шаре, подавали там единственные в мире сосиски и настоящее мюнхенское пиво.

Пивная помещалась в центре города, на Дерибасовской улице, окружена была высоким зеленым палисадом, и славилась тем, что гостю или клиенту ни о чем беспокоиться не приходилось, старый на кривых ногах лакей в кожаном фартуке наизусть знал всех по имени, и знал кому, что, и как должно быть подано.

После вторников у Додди, где собирались художники, писатели и артисты, и где красному вину Удельного Ведомства отдавалась заслуженная дань, считалось, однако, вполне естественным завернуть к Брунсу и освежиться черным пенным пивом.

Сухой, стройный, порывистый, как-то по особому породистый и изящный, еще в усах и мягкой, шатеновой и действительно шелковистой бородке, быстро, и всегда впереди всех, шел молодой Иван Алексеевич Бунин; за ним, как верный Санхо-Панчо, семенил, уже и тогда чуть-чуть грузный, П. А. Нилус; неразлучное трио – художники Буковецкий, Дворников и Заузе – составляли казалось одно целое и неделимое; и не успевал переступить порог популярный в свое время А. М. Федоров, поэт и беллетрист, как Бунин, обладавший совершенно недюжинным, совершенно исключительным даром пародии, и звуковой и мимической, начинал уже подбираться к намеченной жертве:

– Александр Митрофанович, будь другом, расскажи еще раз как это было, когда ты сидел в тюрьме, я ей-богу, могу двадцать раз подряд слушать, до того это захватывающе интересно...

Федоров конечно не соглашался, и «за ложную стыдливость, каковой всегда прикрывается сатанинская гордость», – немедленно подвергся заслуженному наказанию.

Карикатура в исполнении Бунина была молниеносна, художественна и беспощадна.

Этот дар интонации, подобный его дару писательства, невзирая на смелость изобразительных средств, не терпел ни одной сомнительной, неверной или спорной ноты.

Переходя на тонкий тенор, острый, слащавый и пронзительный, Бунин обращался к воображаемой толпе политических арестантов, которых вывели на прогулку и, простирая руки в пространство, в самовлюбленном восторге, долженствовавшим быть благовестом для толпы, кричал исступленным уже не тенором, а вдохновенно-фальшивым фальцетом:

– «Товарищи! Я – Федоров! Тот самый... Федоров!.. Я – вот он, Федоров!..»

Присутствовавшие надрывали животики, Бунин театрально отирал совершенно сухой лоб, а виновник торжества подносил своему палачу высокую кружку пива и, криво усмехаясь и заикаясь, говорил:

– А теперь, Иван, изобрази Бальмонта – «и хохот демона был мой!».

Но этот маневр диверсии не всегда удавался, тем более, что пародию на стихи Бальмонта, где каждый куплет кончался рефреном «И хохот демона был мой!» – во всяком случае невысказано было воспроизводить у Брунса, где было много посторонней публики, не всегда способной оценить некоторые свободололюбивые изыски бунинской пародии.

* * *

Итальянская опера, пивная Брунса, кондитерская Фанкони, кофейное заведение Либмана, – все это были достопримечательности неравноценные, но отмеченные наивной прелестью эпохи, которую французы называют:

– Dix-neuf cents... La belle Iroque!¹⁷

Но был им присущ какой-то еще особый дух большого приморского города с его разношерстным, разноязычным, но в космополитизме своём по преимуществу южным, обладающим горячей и беспокойной кровью населением. Жест в этом городе родился раньше слова.

Все жестикулировали, размахивали руками, сверкали белками, стараясь объяснить друг дружке – если не самый смысл жизни, то хоть приблизительный.

А приблизительный заключался в том, что настоящее кофе со сливками можно пить только у Либмана, чай с пирожными лучше всего у Фанкони, а самые красивые в мире ножки принадлежат Перле Гобсон.

Чтоб не томить воображение, скажем сразу, что Перла Гобсон была мулаткой и звездой «Северной гостиницы».

Каковая «Северная гостиница» ничего Диккенсовского в себе не заключала, никакой мистер Пикквик никогда в ней не останавливался, а принадлежало это скромное название кафе-шантану, но, конечно, первому в мире.

За столиками «Северной гостиницы», в зале, расписанном помпейскими фресками, или приблизительно, можно было встретить всех тех, кого принято называть «всей Одессой».

Богатые, давно обрусевшие итальянцы, которым почти целиком принадлежал Малый Фонтан с его мраморными виллами и колоннадами; оливковые греки, торговавшие рыбой, и сплошь называвшиеся Маврокордато; коренные русские помещики, по большей части с сильной хохлацкой прослойкой; евреи, обросшие семьями, скупщики зерна и экспортёры, и среди них герои и действующие лица «Комедии брака» Юшкевича; морские офицеры в белых тужурках с чёрными с золотом погонами, со сдержанным достоинством оставившие кортики в раздевалке; несколько кутящих студентов в мундирах на белой подкладке, лихо подъезжавших в фаэтонах на дутиках; и, наконец, два аборигена, два Аякса, два несравненных одесских персонажа, которыми тоже не мало и с трогательным постоянством гордилась южная столица.

Одного звали Саша Джибелли, другого Серёжа Уточкин.

Отсутствие отчеств нисколько не говорило о недостатке уважения, скорее наоборот: это было нечто настолько своё, настолько родное и близкое, что как же их было называть иначе, как не сокращёнными, милыми, домашними именами?!

За что ж их, однако, любили и уважали?

Никаких подвигов Саша Джибелли не совершил, ничего такого не изобрёл, не выдумал, никаких ни военных, ни гражданских доблестей не проявил.

¹⁷ Девятисотые годы... Блестящая эпоха!

Но настолько был, миленький, красив и лицом и движениями, настолько приятен, и в таких гулял умопомрачительных, в складочку выутюженных белых брюках с обшлагами, и такие носил, душка, гетры на жёлтых штиблетах с пуговицами, и портсигар с монограммой, и тросточку с набалдашником и шляпу-панаму, а из-под шляпы взгляд темно-бархатный, что ходили за ним по Дерибасовской, как за Качаловым на Кузнецком Мосту, толпы поклонниц, вежливо сказать, неумеренных, а честно сказать – психопаток.

А сам он только шурился и улыбался, и всё дымил папиросками, по названию «Графские».

А что про Сашу Джибелли друг другу рассказывали и всегда по секрету, и каких только ему не приписывали оперных примадонн, драматических гран-кокетт, львиц большого света и львиц полусвета, хористок, гимназисток, белошвеек и епархиалок, – списку этому и сам Дон-Жуан мог позавидовать.

Надо полагать, что в Одессе, как и в Тарасконе, была манера всё преувеличивать, но преувеличивая, делать жизнь краше и соблазнительнее.

Несомненно, однако, и то, что, всё равно, очищенная от легенды или приукрашенная, а биография Саши Джибелли еще при жизни героя вошла в историю города, и историей этой город весьма гордился, как до сих пор гордится Казановой Венеция...

И всё же, в смысле славы, сияния, ореола – Серёжа Уточкин был куда крупнее, значительнее, знаменитее.

И бегал за ним не один только женский пол, а все население, независимо от пола, возраста, общественного положения и прочее.

Красотой наружности Уточкин не отличался.

Курносый, рыжий, приземистый, весь в веснушках, глаза зелёные, но не злые. А улыбка, обнажавшая белые-белые зубы, и совсем очаровательная.

По образованию был он неуч, по призванию спортсмен, по профессии велосипедный гонщик.

С детских лет брал призы везде, где их выдавали. Призы, значки, медали, ленты, дипломы, аттестаты, что угодно.

За спасение утопающих, за тушение пожаров, за игру в крикет, за верховую езду, за первую автомобильную гонку, но самое главное, за первое дело своей жизни – за велосипед.

Уточкин ездил, лёжа на руле, стоя на седле, без ног, без рук, свернувшись в клубок, собравшись в комок, казалось управляя стальным конём своим одною магнетической силой своих зелёных глаз.

Срывался он с лошади, разбивался в кровь; летел вниз с каких-то сложных пожарных лестниц; вообще живота своего не щадил.

Но чем больше было на нём синяков, ушибов, кровоподтёков и ссадин, тем крепче было чувство любви народной и нежнее обожание толпы.

В зените славы своей познакомился он с проживавшим в то время в Одессе А. И. Куприным.

Любовь была молниеносная и взаимная.

– Да ведь я тебя, Серёжа, всю жизнь предчувствовал! – говорил Куприн, жадный до всего, в чём сказывались упругость, ловкость, гибкость, мускульная пружинность, телесная пропорциональность, неуловимое для глаза усилие и явная, видимая, разрешительная, как аккорд, удача.

Красневший до корней волос Уточкин только что-то хмыкнул в ответ и, заикаясь, – ко всему он еще был заика, – уверял, что рад и счастлив, и что очень всё это лестно ему...

А что лестно, и в каком смысле, и почему, так и не договорил.

Потом где-то в порту долго пили красное вино, еще дольше завтракали в еврейской кухмистерской на Садовой, и уже поздно вечером у Брунса, без конца чокаясь высокими круж-

ками с чёрным пивом, окончательно перешли на ты, – Куприн со свойственным ему добродушным лукавством и этой чуть-чуть наигранной, безразличной и звериной простотой, Уточкин, нервно двигая скулами, краснея и заикаясь.

Увенчанием священного союза был знаменитый полёт вдвоём на одном из первых тогда самолётов. Вся Одесса, запрудившая улицы, конная полиция, санитарные пункты, кареты скорой помощи, невиданное количество хорошеньких, как на подбор, сестёр милосердия с красными крестиками на белых наколках, подзорные трубы, фотографы, бинокли, рисовальщики, градоначальник, производивший смотр силам, стоя в пролётке, – и, наконец, не то вздох, но то крик замершей толпы и... – «белая птица, плавно поднявшись над городом, то исчезает в облаках, то снова появляется в голубой лазури», как вдохновенно писал местный репортер Тречек.

Впрочем сами участники этой нашумевшей тогда прогулки, и А. И. Куприн, и Уточкин, подробно рассказали о своих воздушных впечатлениях на страницах «Одесских новостей».

Надо ли говорить, каким громом аплодисментов встретила Уточкина «Северная гостиница», когда чуть ли не на следующий день «король воздуха», как выражался не успокоившийся Тречек, осчастливил её своим посещением?

Саша Джибелли поднёс ему венок из живых цветов с муаровой лентой и соответствующей надписью древнеславянской вязью.

Два Аякса троекратно облобызались, оркестр сыграл туш, а когда Перла Гобсон, освещённая какими-то фиолетовыми лучами, произнесла по-английски несколько приветственных слов от имени дирекции кафе-шантана, энтузиазм публики достиг апогея.

Весь зал поднялся со своих мест, какие-то декольтированные дамы, не успев протиснуться к Уточкину, душили в своих объятиях сиявшего отраженным блеском Сашу Джибелли, а героя дня уже несли на руках друзья, поклонники, спортсмены, какие-то добровольные безумцы в смокингах и пластронах, угрожавшие утопить его в ванне с шампанским...

Положение спас С. Ф. Сарматов, знаменитый куплетист и любимец публики, говоря о котором одесситы непременно прибавляли многозначительным шёпотом:

– Брат известного профессора харьковского университета Опеньховского, первого специалиста по внематочной беременности!

Сам Сарматов был человек действительно талантливый и куда скромнее собственных поклонников.

Появившись на эстраде в своих классических лохмотьях уличного бродяги, оборванца и пропойцы, «бывшего студента Санкт-Петербургского политехнического института, высланного на юг России, подобно Овидию Назону, за разные метаморфозы и прочие художества», Сарматов, как громоотвод, отвёл и разрядил накопившееся в зале электричество.

Немедленно исполненные им куплеты на злобу дня сопровождались рефреном, который уже на следующий день распевала вся Одесса.

Дайте мне пилота,
Жажду я полёта!..

Восторг, топот, восхищение, рукоплескания без конца. Опять оркестр, и снова пробки Редерера и вдовы Клико то и дело взлетают вверх, к звенящим подвескам люстры, и на сцене уже, всех и все затмившая, шальная, шалая, одарённая, ни в дерзком блеске своем, ни в распутной заострённости непревзойденная, в платье «цвета морской волны», ловким, рассчитанным движением ноги откидывая назад оборки, кружева, воланы предлинного шелкового шлейфа, появляется М. А. Ленская, из-за которой дерутся на дуэли молодые поручики, покушаются на самоубийство пожилые присяжные поверенные, и крепкой перчаткой по выбритым щекам, днём, на Дерибасовской улице, супруга официального лица публично бьёт лицо по физиономии...

Будет о чем поговорить на лиманах, на Фонтанах, у Либмана, у Робина, у Фанкони, в городе и в свете, а также в редакциях всех трех газет – «Одесских новостей», «Одесского листка» и «Южного обозрения».

Не только в самой столице, но далеко за ее пределами, всем южанам, как чеховским «Бирюлёвским барышням», давно известно было, что «Одесские новости» это Эрманс, «Южное обозрение» – Исакович, а «Одесский листок» – Н. Н. Навроцкий.

А еще было известно, что недавней короткой славой своей «Одесский листок» обязан был самому Власу Михайловичу Дорошевичу, которого отбил у Навроцкого никто иной, как Иван Димитриевич Сытин. И не то что так, просто отбил, а чтобы поставить вдохновителем и главным редактором Московского «Русского слова».

<...>

ХП

После похищения Дорошевича для «Одесского листка» наступают неизбежные сумерки, и после действия остается за «Одесскими новостями», сыгравшими большую, почти выдающуюся роль в истории русской провинциальной печати.

Руководительство газетой, после ухода А. С. Эрманса, переходит в руки И. М. Хейфеца.

О газетной и редакторской его работе можно было бы написать книгу, во всяком случае большую главу. Будущий Лемке восполнит этот пробел.

Каждое поколение опаздывает в признаниях и оценках.

Читатели (оставшиеся в живых) помнят только Старого Театрала.

Это был не очень удачный и скорее безличный псевдоним, которым Хейфец подписывал свои часто блестящие, всегда правдивые, нередко резкие рецензии.

Актёры его ценили, боялись, уважали и не любили.

Впрочем, четыреххвостка эта была применима и ко всей его биографии. А к редакторской в особенности.

Но очень было мало таких, кто способен был расшифровать его скрытую, скупую на откровения натуру, которая, и в руководительстве таким большим и живым делом, как газета, проявлялась отрывисто, резко, без объяснений причин и утомительных придаточных предложений.

Характерной и не лишённой некоторой забавности иллюстрацией его редакторской манеры была его постоянная и ожесточенная война с репортерами. Особенно с репортерами того огнедышащего южного типа, где темперамент и воображение расценивались куда больше, нежели грамотность и точность.

Хейфец требовал целомудренной краткости, существа, экстракта, самого главного.

А репортеру тоже хотелось жить красиво, витать, порхать, тонуть в деталях, подробностях, в описаниях, в прилагательных.

Знаменитый Трецек, с ударением на первом е, человек влюблённый в своё ремесло и считавший, что каждую новость, даже самую малую, надо подавать с жаром, вдохновением, священным огнём, – задыхаясь, вбежал в ночную редакцию, присел за уголок длинного, уставленного чернильницами стола, и, бешено куря папиросу за папиросой, сопя, задыхаясь, потирая лоб, вскакивая, садясь, – подвижное лицо в тиках, жилках, пятнах, в чернилах, – писал, писал, страницу за страницей, листок за листком, пока вошедший для последнего фельдмаршальского смотра Хейфец не процедил сквозь зубы:

– Трецек, довольно беллетристики, давайте заметку, поздно.

Трецек вспыхивал и потухал, отирал потное от волнения лицо, умолял дать ему еще две минуты, еще одну минуту...

Но Хейфец был как Фатум, как судьба, как Каменный Гость.

Выхода не было, куча только что написанных, горячих, еще дымившихся листов подымавшегося как ртутный термометр Трецека попадала в снег, в тундры, в ледники.

И вот, по словам свидетеля истории, что из конфликта этих двух миров получалось.

Бедный Трецек, бедный Йорик, писал:

«Вчера, ровно в полночь, едва заслышав глухой звон набата, озаренные блеском факелов, в медных касках, подобные воинам римских легионов, не щадя жизни, бросаясь в самые опасные места, развёрнутой колонной и сомкнув ряды, шли наши неоценимые и самоотверженные серые герои, и куда?! Я вас только спрашиваю куда?! И отвечаю: в огонь, воду и медные трубы!..»

«Лишь бы вырвать из разбушевавшейся стихии несколько несчастных жертв общественного темперамента, ибо надо ли пояснять и, так сказать, бить по темени несознательных масс, что дело идёт о народном бедствии в одном из самых густо населенных пунктов нашей Южной Пальмиры»...

Каменный Гость накрест перечеркнул произведение Л. О. Трецека жирным красным карандашом.

В утреннем номере газеты, в отделе городской хроники, оскорбительно – мелким шрифтом было напечатано:

«Вчера ночью пожарная команда Бульварного участка была вызвана в Биоскоп Сирочкина. Тревога оказалась ложной».

* * *

Искусство Хейфеца, как редактора, проявлялось главным образом в умении учуять, раскопать, найти и привлечь новые силы, молодые дарования.

Теперь это уже почти забыто, но быть может справка не лишена интереса.

В «Одесских новостях» начинали свою литературную карьеру Корней Чуковский, К. В. Мочульский, Петр Пильский, В. Е. Жаботинский, явивший весь свой искрометный и иронический блеск в лёгких, в совершенно новой манере подданных фельетонах, за подписью Altalena.

Старую гвардию, своего рода совет старейшин вокруг склонного к диктатуре редактора, представляли тишайший О. А. Инбер, полиглот и начётчик, С. Соколовский (Седой), скучный и почтенный передовик, и, разумеется, милейший Петр Титыч Герцо-Виноградский, избравший себе совершенно немислимый в настоящее время псевдоним – Лоэнгрин, и писавший длинные, ежедневные, многоуважаемые фельетоны в совершенно забытой теперь форме нравоучительной публицистики и якобы ядовитого, дозволенного цензурой радикализма.

Но какой это был прелестный, душевный, всегда растерянный, часто неприкаянный, и так сильно напоминавший чеховского Гаева человек!

Близорукий, изящный, какой-то особой повадкой походивший на уездного предводителя дворянства из обрусевших поляков, всегда в безукоризненно накрахмаленных воротничках, с густыми мягкими, мопассановскими усами, Герцо-Виноградский пользовался большой популярностью и любовью.

Изумительная память и патологическая страсть к цитатам создали ему репутацию настоящего энциклопедиста, знавшего наизусть, как говорил Бунин, где какие люди живут и за какие идеалы страдают...

Это был один из тех старых литераторов и последних могикан, которых щедро расплодил Михайловский и снисходительно осуждал Владимир Соловьев.

Это ему, добрейшему и безотказному Петру Титычу, и ему подобным, патетически писали курсистки высших женских курсов:

– Научите, как жить...

А он и сам не знал и не ведал, и в дружеской беседе, в полнолуной зачарованной тишине новороссийской ночи, слегка размякнув от красного вина, каким-то дрожащим, взволнованно-ослабевшим голосом не то декламировал, не то нараспев читал любимые стихи Тютчева:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
...Взрывая, возмутишь ручьи.
Питайся ими, и молчи.

<...>

* * *

О ком еще стоит вспомнить и хотя бы вскользь упомянуть, порой с примесью запоздалой признательности и сожаления, – «их было много, их больше нет», – порою с чувством, с отзвуком угасшего негодования?

Ведь, помимо героев и воображаемых портретов во вкусе Уолтэра Патера, помимо итальянских теноров, дерibasовских красавцев, велосипедистов, спортсменов и героев Семена Юшкевича, были в этом городе преходящих вкусов не одни только мотыльки и бабочки, любимцы публики на день, на час, которых поспешно венчала и столь же поспешно развенчивала впечатлительная, неблагодарная, неверная южная толпа.

Были талантливые актеры русской драмы, – вдохновенный, бледный, испепелённый М. М. Горелов, игравший неврастеников и первых любовников, незабываемый в «Призраках» Генрика Ибсена; был недюжинный по дарованию горбун, С. М. Ратов; молодой Виктор Петипа, сверкавший всею лёгкой радугой своей французской крови; и неразлучный друг его и приятель, Южный, которого бесцеремонно называли Яша Южный, – в будущем, в годы эмиграции, директор имевшего большой успех русского театра миниатюр «Синей Птицы»; был рыхлый, вкрадчивый, торжественный и театральный А. И. Долинов, впоследствии режиссер Александринского театра, говоривший о Савиной, полускрывая глаза и приподымаясь со стула; был еще популярный на юге М. Ф. Багров, несменяемый антрепренёр городского театра.

И как же забыть навсегда генеральных репетиций, первых представлений и первых рядов, рисовальщика и карикатуриста, остроумного, весёлого, или притворявшегося весёлым, всей повадкой своей напоминавшего парижского бульвардье, в шляпе набекрень, в выхоленной бороде с моложавой проседью, милейшего, беспокойнейшего Мих. Сем. Линского, предварительно переменявшего немало газетных рубрик и немало псевдонимов, которому на каком-то интимном чествовании, – в Одессе обожали юбилеи и чествования, – кажется. Корней Чуковский преподнёс это сохранившееся в памяти посвящение:

Ты прежде принцем был де-Линь,
Потом ты просто стал де-Линь,
Ну что ж, линияй, брать, дальше...

Спустя несколько быстро промчавшихся десятилетий, во время оккупации Парижа, бывший балетный фигурант и немецкий наймит, по фамилии Жеребков, с удивительной прозорливостью докопался и открыл, что бывший принц де-Линь был всего-навсего уроженец города Николаева, Шлезингер, на основании чего, и по приказу генерала фон-Штульпнагеля, в одно прекрасное последнее утро, за крепостными валами Монружа, уже не с легкой проседью в

подстриженной бородке, а белый как лунь, и белый как полотно, Мих. Сем. Линский был расстрелян, и зарыт в братской могиле, в числе первых ста заложников.

Большое, окаймлённое чёрной рамкой объявление о расстреле ста было расклеено по всей Франции. Мы его прочитали в Aix-les-Bains, сойдя с поезда. В двух шагах от вокзала, в нарядном курортном парке, оркестр играл марш из «Нормы». Была вещая правда в стихах Анны Ахматовой:

Звучала музыка в саду
Таким невыразимым горем...

* * *

Еще одно имя, прежде чем покинуть Одессу: Герман Фадеич Блюменфельд.

Официальный титул – присяжный поверенный Округа Одесской судебной палаты, знаменитый цивилист, автор почти единственных на всю Россию трудов по бессарабскому праву.

В быту, в домашней жизни, в общении с людьми – обаятельный человек, доброты и нежности плохо скрываемой за какой-то сочинённой и выдуманной маской брюзги, буки, ворчуна и недотроги.

А между тем, стоило недотроге сесть за свой огромный письменный стол, заваленный книгами и рукописями, чтобы попытаться, в который раз, закончить важную кассационную жалобу в Правительствующий Сенат, как, – вот вы сами видите, – признавался он в минуты отчаяния, – какой скэтинг-ринг устраивают на моей лысине кошки, дети, и все друзья и подруги этих миленьких детей, которые тоже приводят кошек, и еще спрашивают, негодяи: – Мы вам не помешали?!

Недаром, когда праздновался 25-летний юбилей его адвокатской деятельности и старший председатель Судебной Палаты, обратившись к нему с сердечным прочувствованным приветствием, выразил надежду, что он, юбиляр, еще в течение долгих и долгих лет будет являть пример всё того же высокого и неизменного служения праву, и чувствовать себя в Суде, как дома, – бедный Герман Фадеич не выдержал и со свойственной ему быстротой реплики немедленно возразил:

– Пожелайте мне лучше, Ваше Превосходительство, чувствовать себя дома, как в Суде...

Дом Блюменфельда был в полном смысле слова открыт для всех.

Клиенты, просители, товарищи по сословию, а в особенности молодые помощники присяжных поверенных, и «наш брат студент», приходили почем зря и когда угодно, спорили, курили, без конца пили чай, безжалостно уничтожали пирожные от Фанкони, рылись в замечательной блюменфельдовской библиотеке, а потом наперебой задавали Буке бесконечные вопросы по гражданскому праву, по уголовному праву, требовали рассмотрения каких-то невероятных сложных казусов, бесцеремонно настаивали на немедленной дискуссии, одним словом, как говорил сам Г. Ф., устраивали параллельное отделение юридического факультета, и извлекали из-под скэтинг-ринга, – это непочтительное наименование сократовой лысины будущего сенатора укоренилось быстро и окончательно, – не мало настоящих знаний, а порой и откровений, которыми восполнялись невероятные пробелы незадачливой официальной науки.

Воспоминания о Блюменфельде не есть нечто своё, неотъемлемое и личное.

В будущей свободной России, когда все станет на место и возврат к истокам и извлечённым из праха и забвения ценностям окажется неизбежным, и о забытом Г. Ф. будет написана поучительная книга, может быть целая антология его юридических построений, теорий, толкований и разъяснений.

В антологию эту непременно войдут и его щедро рассыпанные, оброненные на ходу, брошенные на ветер, в пространство, – афоризмы, определения, меткие острые слова, исполненные беспощадной иронии, но и доброты и снисходительности, мнения и характеристики, и, может быть, в конце книги грядущие и, как всегда, равнодушные поколения прочтут все же не с полным безучастием короткий эпилог, несколько покрытых давностью строк из частного письма, дошедшего в Европу в грубом сером конверте из обёрточной бумаги, с почтовой маркой с портретом Ленина: голодной смертью, от цинги, умер Герман Фадеич Блюменфельд.

* * *

Новороссийский антракт кончался. <...>

Итак, прощайте. Лиманы, Фонтаны, портовые босяки, итальянские примадонны, беспечные щеголи, капитаны дальнего плавания, красавицы прошлого века, как у Кузмина, но без мушки, градоначальники и хулиганы, усмирявшие наш пыл,-

Одесса Толмачёва
Резина Глобачева,
А молодость ничья!

Прощайте, милый Шпаков, единственный утешитель, и розовый и седой, талантливый, пронзительный Орженцкий, виновный в том, что поляк, а потому навсегда доцент, и только в далёком будущем первый ректор Варшавского университета.

Застучали колеса пролётки по вычищенным мостовым. Что ж еще?... Закурить папироску фабрики Месаксуди, обернуться назад, на сразу ставшее милым прошлое, крепко удерживать в памяти, на всю жизнь запомнить ослепительную южную красоту, в пышном цветении акации на Николаевском бульваре, бегущие вниз ступени – к золотому берегу, к самому пропитанному солью нестерпимо-синему простору, еще в счастливом неведении грядущих бед, не предугадывая, не предчувствуя чеканных строк Осипа Мандельштама, которым суждено будет стать пророческим эпиграфом целой жизни:

Здесь обрывается Россия
Над морем чёрным и глухим.

Богдан Комаров (1882–1975)



Український публіцист, бібліограф, природознавець. Народився в Києві, виховувався в українській патріотичній родині. Навчався у Львівському і Краківському університетах. З 1906 р. вчителював на Одещині, перебуваючи під наглядом поліції. Був ініціатором створення Державної української бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка і її завідувачем у 1920–1930 рр. У 1930 р. був заарештований і засланий в Ленінабад, де викладав і заснував власну наукову школу. Працював над спогадами «Бібліотека моєї пам'яті».

Мої університети

(уризок)

Вікно було відчинене, і з саду добре було видно все, що діється в аудиторії. Калишевський накинув на плечі скелета студентську тужурку, а на череп одяг картуз і запалив з двох боків два газових пальника. Картина вийшла дуже ефектна. Коло вікна почали збиратись перехожі...

Аж ось до аудиторії увійшов професор. Пальники біля скелета були миттю загашені, тужурка і картуз зірвані з скелета і скелет поставлено на належне місце. Професор нічого не сказав, але видно було, що його образив цей жарт, бо перші хвилини він не міг читати спокійно.

Але ми і в думці не мали ображати професора. Ми хтіли просто посміятись над самими собою: мовляв, кожний з нас колись обернеться на кістяк. Після лекції прохали пробачення у професора.

* * *

Вступаючи до університету більшість з нас, студентів, йшло не тільки вчитися, засвоювати основи науки, але й брати участь (і то в перших рядах!) в боротьбі «за волю, за блага для усього трудяшого народу» і, в першу чергу, проти дикої сваволі царського уряду.

<...>

У мого товариша і друга Володі Сигаревича був старший брат Дмитро Дмитрович Сигаревич, молодий, талановитий вчитель історії. Він якось в кінці 1900 року запропонував прочитати коротенький нарис історії України у себе вдома для мене, Володі і ще двох-трьох студентів – українців. Ми з радістю прийняли пропозицію і в призначений день з'явилися до Дмитра Дмитровича в складі п'яти чоловік. Нас прийняли дуже гостинно, але Дмитро Дмитрович повідомив, що він не дістав одного дуже важливого саме для першої лекції літературного джерела і тому мусить відкласти початок лекцій з історії України на три тижні, на протязі яких те літературне джерело до нього прибуде, а сьогодні він може прочитати нам, якщо ми згодні, лекцію з історії французької революції. Ми з вдячністю на це погодились.

Лекція Дмитра Дмитровича захопила нас. Він спромігся прочитати її так рельєфно і з таким ентузіазмом, що ми наче бачили на свої власні очі ті події, за які оповідав лектор. Дуже сумно, що далі все склалося не так, як гадалося. За участь в «студентських розрухах» слухачам довелось примусом покинути Одесу.

А ще раніш, на самому початку навчального року, у вересні, Дмитро Дмитрович радив мені і Володі прочитати книгу відомого українського політичного діяча М. Драгоманова: «Историческая Польша и великорусская демократия». Нам дістали цю, видану в Швейцарії, книжку, і ми з Володею почали її студіювати. Але книжка нам не сподобалась – щоб її добре розуміти, треба було б попереду пройти якісь «Vorstudien». І зміст її здався нам занадто далеким від того, що в даний мент цікавило нас.

А, безумовно, студентство тих часів було найбільше зацікавлене політичною економією і марксизмом. Один з моїх товаришів, студент-українець Гуссов, який вважав себе за дуже дотепного, казав: «Всі так захоплені політичною економією, що можна сказати – ми живемо не в Європі, а в політичній економії»

(Гуссов писав своє прізвище через два «с», бо, як запевняв, він був родом зі Швеції, де звався Гуссоном).

Про «Капітал» Маркса ми всі чували, навіть співали в заздравній пісні:

Выпьем, брат, за того,
кто писал «Капитал»,
За работу его,
за его идеал!

Але поняття про марксизм ми мали здебільшого обмежене. Трудно було дістати відповідну літературу. Один примірник «Капіталу» в російському перекладі був в бібліотеці Новоросійського університету, але переховувався він не в загальному відділі, а в кафедральній бібліотеці катедри богословія! Вчені попи тримали його у себе не для пропаганди ідей Маркса, а для того, щоб зручніше цькувати одного з найбільших своїх ворогів – атеїста Карла Маркса.

<...> Уже в перші дні перебування в університеті я дізнався, що там функціонує нелегальна загальностудентська організація, яка має свої відділи по окремих факультетах і окремих курсах. Більше того – по окремих курсах студенти поділялись на десятки, на чолі яких стояли вибрані на сходах «десятьські».

Більш того, я сам відразу попав у «десятьські».

Загально студентська організація здається мені тепер чимсь на взір чутливого термометра, який зараз же відчуває всі події в політичному чи суспільному стані країни, і не тільки відчуває, але й реагує на них ділом і публічними виступами, маніфестаціями, масовими сходами, забастовками, виготовленням і поширенням прокламацій і таке інше. В усіх цих діяннях студенти виступали, як оборонці правди «простого люду» від злочинств царату та багатіїв. Не даром в широких масах з пошаною ставились до студентів. Студентський картуз був символом боротьби за правду.

Прошли роки і стерлись з пам'яті більшість імен товаришів-студентів. Пам'ятаю, що чільну участь в справах загально-студентської організації приймав грузин Чічінадзе, студент не молоденький, з бородою. Не пам'ятаю окремих подій, але ясно бачу в думках своїх привітну постать цієї людини, завжди ласкаву до молодих студентів, які дивились на нього, як на батька.

<...> Часи були бурхливі. Царський уряд затвердив так звані «Временные правила», згідно з якими студентів за участь в політичних виступах стали «отдавать в солдаты». Шпиги усякого роду пильно стежили за студентами. Як приклад, пригадую такий випадок. Мій десяток зібрався у Чекерського. Коли ми вже кінчали свою нараду, хтось з наших запримітив крізь вікно людську фігуру за дверима кімнати, в якій ми засідали і яка безпосередньо виходила на зовнішні сходи. Фігура прислухалась до наших розмов і підглядала в замкову щілину. Ми раптом вискочили на сходи, але фігура вже прожогом втікала на вулицю. «Шпион! Негодяй!» – кричали ми, біжучи за невідомим, але спіймати і набити його не вдалося. Треба визнати, що ми зовсім не вміли додержувати правил конспірації, і слідкувати за нами шпигунам, певно, не було важко.

Зберіглась в пам'яті подія, зв'язана з постановкою в театрі п'єси одеського письменника Федорова «Бурелом». На жаль, я не пам'ятаю, яке саме місце в п'єсі викликало обурення наших студентів. Було вирішено з'явитись на виставу і те фатальне місце в п'єсі зустріти масовим посвистом. Багато студентів з'явилося тоді на спектакль і позаймали місця і на галерці, і в партері, і в ложах. У відповідний момент пролунав у театрі могутній посвист. Поліція була наготові і кинулась арештовувати окремих студентів. Декілька студентів потрапило до їх рук.

* * *

До 5-го грудня професори закінчили читати свої лекції (деякі ще в листопаді), і 5 грудня відбувся щорічний так званий «студентський бал». Відбувся він в пишній салі «Біржи». Спочатку концерт, а потім бал, на який з'являлось багато горожан, головне «мамами» з молодень-

кими (і не молоденькими) дочками. На вечір з'явився і одеський «царьок» – всевладний градоначальник граф Шувалов. Він намагався здобути собі репутацію «друга студентів», та не вдавалося йому це. Не вдалось і на цьому вечорі. Коли при закінченні концерту оркестр заграє, а студенти заспівали міжнародний студентський гімн «Gaudeamus igitur», студенти, а за ними і всі гості встали з своїх місць. Лише граф продовжував сидіти в креслі. «Его сиятельство» звик вставати лише при звуках державного гімну «Боже, царя храни». Але тут з десятків студентських грудей залунав потужний крик: «Встать!», і бідне сиятельство мусило встати і стояти на протязі виконання цього гімну. Після концерту граф, очевидно, не вважав зручним залишатись на балу, подався до дому.

Підчас балу одну з кімнат ресторану, що містився на першому поверсі будинку «Біржі», студенти зайняли під «Мертвецьку», себто кімнату, куди містять «мертвецьки» п'яних. Видима річ, що серед студентів на тому балу дехто й справді здорово випивав. Але призначення «Мертвецької» було зовсім інше. Це була маскировка, а фактично «Мертвецька» призначалась для агітації і пропаганди революційних ідей. Тут лунали гарячі і сміливі промови. Тут навіть виступали іноді і професори. Я був свідком, як до «Мертвецької» зайшов професор ботаніки Рішаві. Ця висока на зріст, надзвичайно поважна, з великою, ефектно утриманою бородою, людина не була революціонером. Але трималась із студентами, як з молодшими товаришами. Зате й любили його студенти. Отже коли Рішаві з'явився до «Мертвецької», його зараз же оточили студенти, десятки рук протяглися до тучної постаті професора, підняли і поставили його на стіл. І професор казав про дружбу студентів і професорів, про те, що їм разом треба будувати науку і разом вести боротьбу за щастя народне. Промова була витримана в загальних рисах, жодних конкретних завдань промовець не назначав, але й за таку промову була вдячна молодь. Щиро плескали старому, і так само обережно і лагідно зняли професора з імпровізованого п'єдесталу. «А як би він покликав до конкретних вчинків? – думалось мені, – всі би пішли за ним»...

Крім загальностудентської організації були в університеті й інші угруповання і гуртки. Були різні національні організації; серед них і гурток українських студентів. Український гурток займався, головним чином, вивченням української літератури і мистецтва, в меншій мірі – питанням про політичне становище України.

Особливо поширені були гуртки студентів-земляків, так звані «землячества», які об'єднували студентів, що прибули з одного якогось краю.

Там були землячества Вознесенське, Ананіївське, Херсонське та багато інших. Головною метою землячеств була взаємодопомога і матеріальна, і моральна.

Одірвані від сім'ї приїзжі студенти часто дуже бідували. Гарних гуртожитків не було. Наприкінці Наришкінського узвоза був поганенький гуртожиток, так зване «Общежитие», позбавлений примітивних зручностей. Койка в кімнаті, де жило 6–8 чоловік, коштувала, як не помиляюсь, два карбованці на місяць. Більшість заробляла уроками, ставали репетиторами буржуйських синків-гімназистів. Одержували копійчану платню. Один мій товариш давав п'ять уроків, ганяв по тих уроках цілими днями, а заробляв ледве 25 карбованців на місяць.

Але землячества мали й інші значення. Вони потроху втягали товаришів до інтересів колективу, до заінтересованості долею народу, до революційних настроїв. На мій погляд, землячества були школою революційної діяльності. Може я й помиляюсь частково – не всі землячества були однакові. Пишучи оті записки, я зацікавився взагалі питанням про землячества і, в умовах Ленінабада, не знайшов нічого. Але мене надзвичайно дивує, що в такому багатокінформованому виданні, як ВРЕ, немає навіть предметного слова: «Землячества». А тим часом немає сумніву, що в історії революційного руху Вищої Школи вони мали неабияку вагу.

* * *

Закінчилися зимові канікули, в кінці січня почався весняний семестр, надійшла та пора, коли революційні настрої студентів набувають особливої сили. Прийшла звістка з університетів Петербургу, Москви, Києва, Тифлісу – усюди шумно, усюди наростають виступи студентів проти репресій царського уряду, проти «отдачи студентов в солдаты». Нарешті в кінці лютого загальностудентська одеська організація оголосила, як знак протеста, загальну забастовку.

В університеті шумно, народу багато, але аудиторії здебільшого порожні, або в них відбуваються сходи («сходки»). Більшість студентів забастували, але знайшлись штрейкбрехери-боягузи, або «маменькины сынки», або «белоподкладочники», які не послухали наказу студентської організації і пішли на лекції. Треба було зробити заходи проти них, умовити їх залишити лекції, а як не послухають, то вигнати їх з аудиторії. Я теж вступив до групи «обструкціоністів». Ми пішли оглядати аудиторії. В більшості з них було пусто, але в деяких сиділо по декілька (2–5) студентів. На чолі нашої групи обструкціоністів стояв надзвичайно симпатичний студент українець Комличенко, людина одночасно і добра до своїх товаришів, і сувора при виконанні своїх обов'язків. Він ввічливо пропонував студентам залишити аудиторії, закликав не порушати загальностудентських вирішень, не зраджувати спільної справи. Здебільшого «зрадники» слухались, залишали аудиторії і приєднувались до забастовки.

<...> Події того дня на цьому не скінчились. Вночі, коли я уже ліг спати, почувся в нашому помешканні дзвінок. Батько ще не спав і сидів за письмовим столом, опрацьовуючи свої бібліографічні записи. Почувши дзвінок, він підійшов до вхідних дверей.

– Хто там? – запитав.

– Телеграмма.

Батько відчинив двері і побачив на сходах синьомундирного ротмістра, двох поліцаїв і нашого двірника в ролі понятого.

– Здесь живет студент Комаров?

– Здесь. Я его отец.

– Укажите комнату сына.

Я займав окрему невеличку кімнату. Синьомундирник і один поліцай увійшли до моєї кімнати. Мій молодечий сон був порушений. Страховиті постаті, що іноді привиджуються вночі, стали переді мною в дійсності. Почався обшук, або так званий «трус». До шуфляд стола, до книжок, до убрання і постелі потяглись ворожі руки, розгортаючи папери, листи, і ворожі очі роздивлялись листки щоденника, аркушки з автовіршами, яких автор і друзям ще соромився показати.

Дещо забрали, що саме, не знаю, бо жандарм наказав мені підчас обшуку сидіти і не рипатись. Обшук закінчився.

– Оденьтесь и захватите постель! Вам придется оставить дом!

Заплакана мати, схвильоване обличчя батька, перелякані сестри...

– До побачення, дорогі!

Поїхали...

Синьомундирник їхав окремо, а мене посадили на звичайні візникові дροжки разом з двома поліцаями, один – поруч, другий – напроти.

Ніч була холодна. Нерви напружені. І я трохи здригався. Поліцай, що сидів напроти мене, звернувся до мене і спитав:

– Вам холодно, господин студент?

І якась приятель почулась мені в цих словах.

– Спасибо! Нічого, – відповів я.

Видно, і серед поліцаїв були люди, які співчували так званим «политическим преступникам». Мене везли до в'язниці.

Одеська в'язниця, що велично йменувалась «Одесский тюремный замок», далеченько була від осередку міста. Дорога йшла повз міське кладовище. Проїжджаючи тепер «під охороною поліцаїв» проти брами кладовища, згадав я свою любу бабусю, під доглядом якої я був увесь час свого дитинства і юнацтва, і яка 4 місяці тому упокоїлась і лежала на тому кладовищі «під тихими вербами», і подумав: «Прощай, люба буся! Спасибі за все». Почув ясно, що скінчилось моє дитинство і юнацтво, а почалась молодість.

Отже, замість університету – «тюремний замок»! В цій установі я розпочав свій другий семестр. Спершу провели мене в кімнату, що була, певно, урядовим осередком в'язниці. Зняли з мене помічі (щоб часом не завішався!), відібрали гаманець з грішми (їх, правда, при мені порахували), годинник, записну книжку і олівець. Посадили в одиночну камеру. На протязі багатьох років я пам'ятав її номер, а оце забув. Здається, № 310.

Заарештували тоді щось коло 200 студентів. Це все народ молодий, палкий, веселий, повний надії на кращу будучину. По камерах повилазили на столи, поодчиняли квартирки, тюремне подвір'я заповнилось криками і співами. Викрикували свої прізвища, вітали один одного, співали «Марсельезу». Я дізнався, що у в'язниці сидить і наш любий Чічинадзе. В моїй камері була не квартира, а так звана «фрамуга» – частину подвійної віконної рами можна було трохи відхилити верхнім краєм в середину камери, і тоді утворювалась у вікні вузька щілина. Крізь яку проходило повітря, але руку просунути не можна. А крикнути можна.

– Здравствуйте, Чичинадзе!

– Кто говорит?

– Комаров!

– Здравствуйте, Комаров! А где ваш «alter ego»?

– Не знаю.

Під «alter ego» Чічинадзе розумів мого товариша і друга Володимира Сигаревича. Виявилось, що арешти студентів продовжувались ще кілька днів. Володю заарештували в один з таких днів.

Караульні бігали по камерах, стягали в'язнів зі столів, кричали на них, але вони не встигали оглянути одразу всі камери. Поки караульний пішов до другої камери, а в'язень з першої знову на столі і кричить у вікно.

Сидячи у в'язниці, я в розпач не вдавався. Мене тішила думка, що я теж хоча трохи допоміг революційній справі, Цілими днями я ходив туди і назад по діагоналі своєї камери і декламував вірші Надсона. Коли я після обіду в перший день приліг на койці, я почув, як хтось з сусідньої камери стукає до мене в стінку. Я ще до арешту знав з книжок, що в'язні звичайно «перестукуються» між собою, але техніки цієї справи я не знав. На стук сусіда я відповів також стуком, але без якогось порядку; я хтів цим показати, що я хочу відповідати йому, але не знаю, як це робиться. І ось, через деякий час, слухаючи ті стуки, я запримітив, що в стуках сусіда помітно якийсь лад: спочатку один міцніший удар, а потім 5 слабеньких, далі 2 міцніших і знову 5 слабеньких, потім 3 міцніших, 5 слабеньких і так далі. Я зрозумів: треба абетку поділити на групи по 5 літер; для кожної літери подати треба спочатку групу міцними ударами, а потім – місце в групі, дрібненькими ударами. Наприклад, літера «К» – 2 міцних удари і 5 дрібних; «С» – 4 міцних удари і 2 дрібненьких. Добре було б записати цей поділ літер на групи, бо трудно цей розподіл увесь час тримати в умі, але у мене одібрали олівець. Через це наші переговори з сусідом йшли досить поволі і з помилками. Особливо важко було мені зрозуміти прізвище сусіда. Це був грузин і мав прізвище «Джорджика».

Істи ми мали що, бо крім загального для всіх в'язнів борщу та каші і хліба, ми мали право замовляти собі додаткові страви у караульних. Я замовляв собі молоко або котлету. За цю додаткову страву в'язні платили з тих коштів, що їх одібрали у нас в управлінні підчас при-

буття. Крім того товариші, що залишились на волі, прислали нам «передачі». Я, наприклад, в перший же день одержав від товаришів (принесла, казав караульний, якась дівчина) пакетик чаю, цукор, паляницю і апельсини. Мене так схвилював цей подарунок від незнаних людей, що я трохи заплакав, а апельсини здались мені такими смачними, що, здається, ніколи, ні до того, ні після того таких не коштував.

В камері на стіні висіла маленька гасова лямпка. Горіла вона на протязі цілої ночі, і гасити її в'язні не мали права. Звичайно вона трохи чаділа. У мене ще й досі, як зачую чад від гасової лямпки, зараз же пригадується моя камера в одеському тюремному замку.

До камери зайшов якийсь старший доглядач – старий жандарм. Він спитав мене, чи хтілось би мені щось почитати. Я відповів, що дуже хтілось би. «Так я вам принесу з тюремної бібліотеки». Він приніс доволі грубий том – якесь число «Журнала Министерства Народного Просвещения». Журнал був офіційним органом МНП і мав у своєму змісті багато наказів, постанов і повідомлень того міністерства, але були надруковані там і дві статті етнографічного змісту, досить цікаві, які я з інтересом прочитав. Не пам'ятаю, за який народ там була мова, але про якийсь з численних народів колишньої Росії (офіційно званих тоді «інородцями»). Пізніше я чув, що у цього старого жандарма був син – студент.

Неприємна річ в камері була «параша». Її виносили раз на день. Закривалась вона покришкою, але дух від неї почувався завжди. Я пам'ятаю, як першого ранку після першої ночі, проведеної у в'язниці, мене в 6 годин розбудив караульний і звелів винести «парашу». Живучи в місті, я звик завжди користуватись ватер-клозетом і ніколи не задумувався над тим, що хтось мусить іноді і виносити сміття і мусор. І я, наче отой «барчук», запитав караульного, хіба я повинен виносити парашу. На це караульний відповів мені просто і цілком справедливо: «ваши испражнения, вы и выносите их обязаны». Ці слова караульного я прийняв, як урок соціальної моралі. Мені стало дуже соромно, що я виступив таким «барчуком», я раптом схопився з ліжка і, під провідництвом караульного, поніс ту парашу до вбиральні, де опорожнив духовиту посудину і гарненько вимив її під струменем чистої води. З того часу оті «походи» з парашею стали для мене чимось на взір розривки: іноді побачиш що цікавого, наткнешся на товариша, що теж несе таку парашу, а то й слово цікаве почувеш і дізнаєшся, кого «свіжого» ще привезли.

Я не пам'ятаю, щоб мене допитували у в'язниці. Лише якийсь сам граф Шувалов прибув до в'язниці, щоб відвідати в'язнів. В'язнів, в тому числі й мене, приводили в управління в'язниці, де перебував «сіятельний». Він не сидів, а стояв коло столу. Мене підвели до нього. Він постарався набрати добродушного вигляду, взяв мене за гудзик тужурки, наче добрий приятель, і почав: «Как это вы, сын уважаемого в городе нотариуса, приняли участие в студенческих волнениях?» «Его сиятельство» почав мене поучати (не пам'ятаю, як саме) і нарешті запитав, чому я взяв участь у забастовці і обструкції? Хто мене підмовив? Я відповів, як і на допиті в університеті: «Я выполнял постановление общего собрания моих товарищей». Рука «сиятельного» залишила мій гудзик, обличчя графське стало похмурим, він дав якийсь знак, і караульний відпровадив мене знову в мою камеру.

Студентів здебільшого не тримали у в'язниці довго. Через 7 чи 8 днів мені сказали, що я звільнений з університету і мушу виїхати з Одеси. В супроводі жандармів мене відвезли на вокзал, провели в якусь кімнату, де сталося моє побачення з батьками. Від батька дізнався я, що мене висилають з Одеси, але місце висилки можу обрати я сам. Батько сказав, що він уже списався з нашими родичами в Куп'янську, і я поїду до Куп'янська. Білет був уже взятий, чемодан з речами привезений. І от я попрощався з батьками, взяв білет в кишеню, а чемодан в руку і вийшов на перон. Проводжати мене не дозволили нікому, але я вже був «вільний» і без участі жандарма сів у вагон. Я бачив, що на вокзал привезли ще й других студентів.

Разом зі мною у тому ж самому вагоні їхало ще два студенти, мені незнайомі, з інших факультетів. Присутність товаришів трохи розігнала мій сум. Один з них – українець – чудесно читав нам напам'ять байку Леоніда Глібова «Вовк та ягня». Байка підійшла до нашої ситуації.

Поки стояв потяг, до нас несподівано зайшов незнайомий мені студент-медик Данський. Він не був репресований і опинився на вокзалі по своїй якійсь справі. Побачивши в потязі трьох студентів, він, дізнавшись, що це «изгнанные правды ради», увійшов у наш вагон, потиснув нам руки і сказав, що це велика честь для нього бути з нами при нашому від'їзді. Він сказав, що з великою пошаною ставиться до нас. Запевнив, що наша справа не загине. Прохав нас не падати духом, бути веселими, бадьорими. Перед нами, казав він, ще ціле життя. Не будьте похмурими, будьте жадними до життя. Під кінець, щоб звеселити нас, проспівав дві шансонетки. Пролунав 3-й дзвінок. Данський розцілувався з нами і скочив з потягу. <...>

Коли мене було заарештовано, батько мій звернувся із запитом в ректорат Новоросійського університету, за які вчинки виключено із університету його сина? Ректорат відповів. На цю відповідь батько написав свої заперечення і знову подав у ректорат. На цей раз відповіді «не последовало». Було б дуже цікаво прочитати це листування з ректоратом. Я дізнався за нього лише далеко пізніше від родини, не читав його, не пам'ятаю, що там оповідали рідні. Збереглося в пам'яті лише одне місце. Відповідаючи батькові, ректор, характеризуючи мої вчинки, починає так: «Еще в начале учебного года Ваш сын обнаруживал некоторую возбужденность». Батько в своєму другому листі до ректорату відповідає: «Вы пишете, что сын мой обнаруживал возбужденность. Но скажите, что же преступного в возбужденности? Кроме того, Вы сами пишете „некоторую возбужденность“; „некоторую“, т. е. незначительную, малую, следовательно такую, что не стоит говорить о ней»...

Батько не хотів погодитись з думкою, що я буду позбавлений вищої освіти. Він почав енергійно клопотатись за мене. Клопоти закінчились успішно. В кінці літа мені дозволили повернутись до Одеси (для лікування на лимані!), а восени мене прийняли знову до університету все на той же перший курс.

Я вирішив цей рік не брати участі ні в яких організаціях, не бував на сходках, а коли в кінці лютого-березня почались, як звичайно, «студенческие волнения», я сидів дома і не брав участі ні в демонстраціях, ні, тим більше, в обструкції. І тим часом мене чекало повторення тогорічних пригод. Мене знову закликало в кабінет ректора. Мене звинувачували в тому, що з палицею в руках я, на чолі юрби забастовщиків, ходив по аудиторіях, силою викидаючи звідти «достойних студентів». Це була цілковита неправда, я сидів в ті часи дома. Так я і заявив на допиті у ректора. Мені не повірили і поставили в особливо тяжку провину, що я хотів «утаить истину». Я був виключений по ст. 3, себто без права вступу в який будь університет Російської держави.

Я не знаю, як могло статись таке. Пізніше товариші студенти догадувались, як це сталося. Студент Г., дуже схожий зі мною фігурою і тим, що носив, як і я, велику бороду і ходив, як і я, з палицею, справді був в числі обструкціоністів. Певно його прийняли за мене. Можливо.

В кожному разі вночі того дня, коли я був на допиті, пролунав у нас в помешканні дзвінок, знову обшук, знову: «Оденьтесь! Возьмите постель!», знову далекий шлях до «тюремного замку», знову заслання. На цей раз до міста Літина на Поділлі. Весь цей час – з осені 1901 р. до березня 1902 р. пройшов для мене в якомусь тумані. Уважно і докладно переглянути і описати цей період у мене не вистачає ні пам'яті, ні охоти.

Ленінабад, 28.10.68

Борис Житков **(1882–1938)**



Писатель, путешественник и исследователь, друг и однокашник Корнея Чуковского. Родился в Новгороде, детство и юность провел в Одессе. Закончил Новороссийский университет, потом – Петербургский политех. Был штурманом, служил в морской авиации, работал инженером. Скончался в 1938 г. в Москве. Наибольшую известность получили его книги для детей. Самое значительное произведение – роман «Виктор Вавич», описывающий революцию

и погромы 1905 г. в Одессе, был осужден советской критикой и при жизни писателя полностью так и не увидел свет. В полном объеме роман был издан в 1998 г.

Виктор Вавич

(главы)

52

Санька Тиктин стоял на посту. На главной улице, против городского сада. Ходил мерно по асфальтовой черной мостовой. Пустые тротуары замерли по бокам, и укатывал в темноту черный асфальт. Санька вслушивался – тишина, покойницкая тишина будто выдула все звуки из темных улиц, и замерли глухие фонари. Санька ходил против высокой «Московской» гостиницы – два окна еще светились в пятом этаже. Санька глянул вверх – уж один только огонь остался.

«Ну и тухни, что, я боюсь, что ли? Пройду вот в переулок, и ничего».

Санька нахмурил брови и крепким шагом пошел в узкий, как щель, проулок. Прошел до угла. Каменно, не по-жилому, стояли дома, и злой губой выставился балкон на углу. Санька свернул по тротуару. Потухло последнее окно в гостинице, и весь темный фасад черными окнами глядел вверх, туда, за городской сад. Мелкий дождик неслышно засеял, шепотком, крадучись, мочил асфальт.

Санька глянул на большие часы, что торчали на кронштейне над часовым магазином, – половина четвертого. Санька стал читать стеклянные блестящие вывески, и тупо смотрели слова, без зазыва, как в азбуке: серебро, камни... Санька огляделся и плюнул в стеклянную вывеску.

«Тьфу! И на всякие фигели-мигели! „в шапке не входят“ – да-с. И вот, в шапке выходят и в этой же шапке на посту стоят».

И Санька вышел и стал посреди мостовой... Едут! Санька услышал далекий стук по мостовой. Вот ясно, громко – подводы, в проулке. Санька двинулся навстречу. Ломовые остановились на углу в проулке. Кто-то соскочил и дернул звонок у ворот. Санька подошел.

– Э, не беспокойтесь, господин студент, – еврейский голос, – я управляющий. Могу показать, хотите, документ – с ювелирного магазина. Да вот дворник, так пусть он скажет.

Дворник уж ворочал ключом.

– Это управляющий Брежанского? – Санька сделал твердый голос.

Дворник не отвечал, он пропускал управляющего, пропускал возчиков.

– Да я спрашиваю, – крикнул Санька, – управляющий прошел?

– Знаю, кого пускаю, – буркнул дворник и хлопнул калиткой.

Санька неистово задергал звонок.

– Сейчас сказать, кого пустил, – кричал Санька. – Сейчас же дам знать в комитет! А черт тебя! – и Санька с яростью дергал звонок.

– Тс! Тс! Не шумите! – и снова управляющий выбежал на улицу. Санька бросил звонок. – Андрей, Андрей! – звал управляющий. Дворник нехотя шагал. – Вот скажите им, кто я. Скажите! Что? Вам трудно?

– Да говорено – управляющий. А он кто здесь, нехай скажет.

– Тс! Тс! – управляющий присел, прижал ладони к уху. Он быстро взял Саньку под руку. – Слушайте, все может быть. Мне сказали, что все может быть. Одним словом, надо перевезти немного товару на склад. И не надо шуму, не надо из этого делать тарарам.

– Почему тайком? – Санька стал, они были на углу.

– Ой! – вздохнул управляющий. Он снял котелок, обтер лоб. – Ну, вы не знаете, так я удивляюсь. А я не могу говорить. Идемте, я покажу документ, и ей-богу же я не имею времени, там товар. Вы же понимаете, какой наш товар? Раз – в карман! – и я знаю? Тысяча рублей! – и он тянул Саньку назад к воротам.

Возчики уж носили забитые ящики, тихо ставили на подводы. Еще какие-то люди в шляпах суетились около подвод. Подводы отъезжали не гремя, шагом, в воротах с фонарем стоял дворник. Санька глядел с угла на работу.

«Черт его знает, а вдруг кража? Спросить, спросить документы? Непременно».

Санька сунулся в ворота.

– Куда? – и дворник взял Саньку за рукав. Санька вырвал руку.

– Да ты!..

– Тс! Ша, ради Бога, – и управляющий бегом подбежал к Саньке. – Что? Что скажете? Документ? – и он бросился рукой в карман. – Вот, вот! – и он тыкал под фонарь паспортную книжку – Гольденберг.

– Да на черта вы стараетесь, квартальный какой, самого в участок...

– Тс! – Гольденберг замахал руками.

– Пятьдесят два! – мазнул дворник фонарем у Санькиного лба. – Сколько вас на фунт? – ворчал дворник.

– Только не надо шуму! – шептал управляющий, и он побежал в глубь двора к освещенной двери.

Было уже почти светло, когда тронулась последняя подвода. Санька прислонился к стене, глядел, как дворник приподнял шапку, поклонившись управляющему. Потом обернулся к Саньке, глядел сощураясь и наосо погрозил толстым ключом, как палкой. И вдруг Гольденберг соскочил с подводы, побежал, придерживал на бегу котелок. Он схватил за руку Саньку:

– Покойной ночи! Я говорю – идите спать! Идите спать, дорогой студент. Ради Бога, идите скорей спать. Ой, честное слово вам говорю. – И он повернулся и быстро засеменял, догонял подводу.

Совсем рассвело, проснулись вывески, заговорили слова. Из большой двери, из «Московской», вышел швейцар. Глянул, сморщась, на небо и перевел глаза на Саньку.

– За городского! – крикнул швейцар через улицу и улыбался, пока Санька кивал головой, что да, да, за городского. Швейцар в пиджаке поверх ночной рубахи, с галунами на фуражке, вот идет к Саньке, стал на краю тротуара, Санька зашагал навстречу.

– А что, ночью тихо было? – швейцар ежился на холоде, совал руки все глубже в карманы. – Тихо, значит. Надрались- то за день. Иди греться, – и швейцар кивнул на дверь. – Аль проверки ждешь? Ну, посла заходи. – И швейцар бежком поспешил к дверям.

Санька бодро зашагал по мокрому асфальту, шлепал в лужи полной ногой. Вот просеменил по панели какой-то в пенсне, спешит куда-то, шеей на ходу вертит. Мальчишка вон какой-то почти бежит. Санька смотрел вслед. Мальчишка оглянулся – еврейчик – кричит что-то Саньке, завернул голову назад. Не понять. Санька улыбался ободрительно, кивал головой. Помахал рукой – вали, вали, мальчик! Мальчишка побежал, заработал локтями. Подвода с грохотом пересекла улицу, ломовой нахлестывал лошадь – та задробила мохнатыми ногами. Было восемь часов, Санька ждал смены. Вон бегут какие-то. По тротуару. Душ пять. Сюда, сюда бегут. Санька остановился, смотрел им навстречу. Они махали руками и запыхавшимися голосами кричат что-то. Сворачивают за угол, кричат что-то Саньке и машут, машут. И вдруг из дали улицы флаги, толпа

ровным строем перегородила улицу, идут, идут, все простонародье будто. Широко, спешно идут, вот уж голоса слышать, вскрики. Санька стоял посреди улицы, не отрывая глаз, глядел на толпу. Вон впереди в бороде машет на ходу палкой, все, все с дубинами.

– Что это? Что это? – кто-то бросился вбок, бежит наискосок, а впереди маленький, как мышь, бежит – мальчик, мальчик!

Ахнула вскриком толпа – догонит, догонит! Санька бросился вперед, глядел на мальчика, видел, как оскалилось лицо, и миг мелькнула дубина, и мальчик с красным потоком из головы пролетел мимо Саньки, и красная полоса за ним на черном асфальте.

– Бей! Бей студа! – и сразу вырвалось много, и Санька глянул в глаза – все, все могут, и живая предупредная радость.

Санька стал на бегу, и вот один уж набежал, стал в одном шагу и замахнул за спину железную полосу, глазами втянул в себя Саньку – миг – тянет назад – далеко замахнул – тяжелая, от ставней. И еще бегут. И вдруг сама нога Санькина брыкнула, ударила в живот того, что с полосой. Санька не чувял силы удара, его повернуло и понесло прочь, будто не ноги, а сам неся, ветром, духом, свистело в ушах, и страх визжал сзади.

– Бей! Бей жидов!

Санька видел только впереди швейцара у дверей, будто манит рукой – у «Московской», он влетел, внесло его в двери, он не заметил, как внесло на третий этаж. Он слышал, как страх грохотал у дверей, кто-то бежал по лестнице, и хлопали испуганные двери в коридорах. Какой-то военный бежит по коридору, застегивается.

– Туда! Туда! – машет Саньке в конец коридора, и Санька побежал по коридору, и вон дверь открыта, женщина, дама в дверях, отступила, пропускает.

– Сюда! – как издаലെка слышит Санька. Он сел на диванчик, глядел на даму и на все вокруг, и тер руки, и как будто сто лет уж эта дама смотрит на него, сдавила брови, рассматривает. Говорит что-то. Непонятно. Не слышно.

– Шинель, шинель скиньте! Шапку сюда! – Она сама сняла шапку, и Санька сдирал с себя шинель, как в первый раз в жизни, отдирает рукава от рук, как приросшую шкуру.

– Хорошо, что штатское на вас.

Санька вертел головой, оглядывал все, и глаза не могли остановиться.

Дама вешала пальто в шкаф.

– Мой муж сапер, подполковник, никто не посмеет! Сядьте! Сядьте же! – и она пригибала за плечо Саньку к стулу.

И вдруг с улицы крик ударил в окно. Дама проворно вертела ручку, распахнула балкон, и свист и вой полохнул в комнату.

– Прошли! Прошли! – крикнула дама Саньке и помахала рукой.

– Фу! Не могу! – вдруг крикнул Санька. Он, как был, без шапки, бросился вон из номера.

Он сбегал вниз по лестнице, – перегнувшись через перила, саперный подполковник громко говорил, отдувался:

– ...и никого не выпускай тоже!.. Вовсе... дверей не отпирай! Понял?

И он поднял голову, увидел Саньку, пошевелил бровями.

– Дай-ка лучше ключ сюда!.. Мне дай ключ! Давай!

Швейцар подымался вверх, подбирая спереди полы ливреи.

Заперли! И радость тайком пробежала под грудью, и Санька неспешно шагнул с последних ступенек в шум голосов внизу в вестибюле, люди быстро, глухо говорили все вместе, в пиджаках поверх ночных рубашек. В купальном халате, с актерским лицом, толстый тряс серыми щеками и говорил: «Погром, погром, кишиневский погром... кишиневский...»

– Где же полиция? Где полиция? – дама дергала Саньку за руку, придерживала на груди капот. – Скажите, что же смотрят?

Мужчины теснились к стеклу двери, присели, головы в плечи.

– Да не напирайтесь на дверь! – вернулся швейцар. Он отталкивал, пихал ладонью в грудь людей, а они не отрывали раскрытых глаз и пятились. – Да камнем кто шибанет, и тогда... – швейцар вдруг оглянулся на топот за окном.

– Казаки! Казаки! – крикнули сзади.

Швейцар схватился за вторую дверь, Санька помог отодвинуть людей и помог припереть дверь, хоть и не надо было. Швейцар вертел ключом, он глянул на Саньку и чуть мотнул головой, сказал тихо:

– Пятьдесят второй? – и мотнул головой, чтоб идти.

Санька шел за швейцаром, и мутный воздух бился в груди, и как будто задохнулась голова и ноги не свои, чужие пружины. Швейцар снял с доски ключ, пошел на лестницу. Санька шел рядом, и ноги поддавали на каждой ступеньке. Швейцар открыл номер, пустой, прохладный, и вот дверь, угловой балкон.

– Отсель видать, – сказал швейцар тихо.

Санька глядел из безопасности, со второго этажа, швейцар стоял рядом.

– Скамейку из сада волокут, ух ты, мать честная!

Казаки стояли в строю на той стороне у городского сада, казачий офицер переминался на лошади, а впереди густая толпа, и вон сквозь толпу колыхнется на руках скамейка, тяжелая, серая – вон четверо несут, к магазину, к ювелирному, Брещанского. И от крика загудели в номере стекла.

– Гляди! Гляди! – швейцар встал на цыпочки. – Ух ты! Раз!

«Грум!» – ухнула железная штора в окне магазина. Санька смотрел, как четверо размахивали скамейкой, били, как тараном, другие садили ломami под низ, видел, как стервенели, краснели лица, тискались к окну еще и еще.

Собыют, собыют, истинный крест, собыют, – шептал швейцар, – сносчики, ей-богу, сносчики это... вот истинный Господь, собыют...

Вдруг камень ляпнул в большие часы над тротуаром, и стекло дребезгом посыпалось сверху, и пустота с палочкой оказалась в часах, как обман. И в часы полетела палка – обрезок трубы, под часами уж пусто, и еще, и еще летят камни в часы, и вдруг все сперлись, хлынули к окну.

– Говорил, собыют! – кричал швейцар. – Ух лезут!

«Что ж я мог бы сделать? Что сделать? – и Санька топнул ногой, и нога дернулась и подкинула Саньку. – Фу, черт!» – Санька отошел от окна, шагнул шаг и снова круто повернул к окну.

– Пойду, пойду! – громко заговорил Санька. – Есть ход? Есть? – дергал он швейцара за плечо.

Швейцар глядел.

– Чего это?

– Ход, ход! Ну, черный ход, есть? Есть же? Я не могу, понимаешь?

– Насчет чего идти? – Швейцар мигал глазами. – Куда же идти?

– Пошли! – Санька схватил швейцара под локоть.

– Ну-ну... чего? Не надо.

Они вышли на лестницу, снизу подымался густой говор, крик, и колкой икотой всхлипывала женщина:

– Айп!.. айп!

Санька рвался за швейцаром через людей, сквозь слова и крики, мимо этого вопля женского.

– Да здесь, здесь, в двух шагах, на Круглом базарчике убивают! – губами выпихивает слова совсем белый человек. – Пойдите, – мотнул вверх головой, – от меня видно, – и сверху втек холод в Саньку, но он рвался за швейцаром.

– Да не лезь так, – и швейцар в узком коридорчике рвал пальцем за крахмальный воротник, и Санька срывал, выпутывал воротник, галстук. Остановился, обрывал манжеты.

– Стой! Каргуз, сейчас каргуз! Стой тут! – и швейцар бросился бегом назад. Санька чувствовал, как руки то слабели, то рвали полотно, как бумажку; швейцар уже надевал каргуз Саньке на голову.

– Ворот вздыми – так! Хорош! – Швейцар отомкнул дверку, ступенька вверх, вот дворик, и вон через забор высокий дом в проулке и люди во дворике вверху – там балкон, и люди мечутся на балконе в четвертом этаже, в высоте. Санька подошел к воротам, и вся кучка людей присунулась к нему, вцепилась глазами. И дворник, с бляхой – дворник.

– Кто есть?

– Пусти, по делу, велено! – Швейцар, должно быть, кричит. Санька смотрел только на ворота, и дух колом стоял в горле. Дворник лез ключом в замок и прицеленным взглядом держал Саньку. – Пушай смело, свой человек!

Они!

Ворота чуть приоткрылись, и Санька ступил в проулок. И в ту же минуту сверху с балкона напротив:

«Дап! дап!» – стукнули револьверные выстрелы. Санька видел, как человек совсем присел к балкону и стрелял через решетку, руку вбок. Стреляли туда, где стояли у городского сада казаки. И толпа отхлынула за угол. Санька сделал несколько шагов под стенкой, и вдруг сзади громом в проулке ударили, лопались выстрелы. Санька вжался в стенку, в дом. Он видел краем глаза, как стреляли с коней казаки, в проулок, вверх, в окна, вдоль улицы. Санька видел ворота напротив. Старик-еврей, с белой бородой, белыми худыми пальцами царапал железные ворота, скреб судорожно щелку и вот затряс головой и тычет, тычет пальцем в замочную дырку и вертит, как ключом, и бьется на месте всем телом о ворота – насквозь, насквозь хочет. Заклацали подковы, казак едет, карабин в руке, увидит, сейчас увидит. Санька вжал затылок в камень, глядел на старика, старик замер, лицом в ворота.

– Что стоишь? Жид, что ли? Эй! – Саньке это кричит и карабин поднял. – Крестись, такая мать, коли не жид!

Санька смотрел в самые глаза казаку, за десять шагов видел, как рядом, серые глаза со смешком:

– Жид?

Санька перекрестился. И без веса рука, как воздухом обмахнул себя Санька. Казак повернул на месте, все лицом к Саньке и рысью тронул назад. Санька глянул на ворота, еле увидел недвижно черное пятно на черных воротах.

Санька глядел вслед казаку. Толпа снова стояла против проулка. Офицер торчал над толпой, избочился на коне. Вон несут, тычут что-то вверх офицеру. Санька видел, как блеснул большой будильник. Офицер взял в руки и вдруг замахнулся и с размаху шаркнул будильник.

– Го! – крикнуло, покатилося по толпе, все смотрели на офицера. Санька отстал от стены, засунул в карманы руки и пошел по проулку прочь. И спина ловила все звуки сзади – до угла бы, до поворота! – думала голова, и глаза знали, какой ногой ступит за угол.

Санька уж подходил к углу – четыре раза ступить, и не в ухо, во все тело сразу ударил крик оттуда, из-за угла, рык с кровью в глотках, и оступилась нога. И вдруг топот дробный за углом, и вылетел человек без шапки, и глаза, как вставленные, одним мигом его видел Санька, и следом вразброд, кучей топали, свистели, пронеслись. Санька отвернулся и быстро шагнул дальше, дальше, за угол. Бросают что-то с балкона, валят кучами и внизу режут, скачут – чего это скачут на одной ноге? Это брюки валят из «готового платья» – надевают брюки, скачут. И вдруг глаза упали вбок, на край тротуара – человек лежит, тушей вмяк в камни. Искал лица – из кровавого кома торчали волосы – борода, и вон белая ладонь из лоскутьев. У Саньки глаза хотели втянуться назад, в голову, пятились и не могли отойти от крови. Идет какой-то, шатается, раскорячился, тугие ноги: штанов много, и вдруг стал над этим. Санька видел, как мигом вздернула лицо ярость.

– А, жидовская морда! Жидера, твою в кровь – веру, – и железной трубой с двух рук с размаху ударил в кровавое мясо, где была голова, и молотил, и брызгало красное, вздрагивало тело. – У! Твою в смерть...

Санька глядел, куда, куда выйти и рука вздрагивала под подбородком, где держал воротник.

– Стой, где ты такой достал, твою в петуха!

Кто-то дернул сзади за локоть. Санька не оглянулся, высвободил руку и шел, шел наискосок, вон, туда, в улицу, вон с Круглого базара, и ноги спешили большими шагами. Нет! затор, не пролезть – кучей у магазина, машут, орут – ух, рев какой! – в разбитое окно прут. Санька выворачивался из толпы, горячим потом сперло вокруг, и рядом кричал хрипло в ухо:

– Уй, угара! Поклал жиденят у корыто, толчет прямо, ей-бога, у капусту – двоих.

Трох! Ой, и работа ж! Толкеть! Толкеть! – заорал впереди, и вдруг все зашатались, кричат сверху – свист, и все шарахнулись. Санька побежал, и следом за ним черное махнуло в воздухе. Санька успел увидеть пианино, и грохнуло сзади, как взрыв, и неистовый крик и свист в толпе, и сразу треск и стекольный всхлип пошел по площади.

«Не бежать, не бежать, – твердил себе Санька, – только не бежать и скорей вон», – и борода из кровавого мяса торчала и шаталась тут, как полоса через глаза, и вот в пустой, совсем пустой улице, и по свободному тротуару шагают ноги, и все быстрее и быстрее, и рука прилипла под воротом, как приклеенная. Кто это? Кто они? – из-за угла, навстречу. Студенты? Ну да! Сумасшедшие! У Саньки нога уже дернула вбок, на другую сторону. Идут быстро, гуськом, по двое, по трое. Санька стал в сторону – красные лица какие – вон впереди в расстегнутой шинели, всеми глазами смотрит вперед – и револьвер, огромный револьвер вниз опустил в руке, чуть не до пола.

И Санька крикнул:

– Рыбаков!

И студент глянул – очень похож, как будто снят с Рыбакова, но красный и глаза... И Рыбаков мотнул головой назад, а глаза все те же – выставлены вперед.

Там казаки у городского сада, – говорил Санька и не слышал своего голоса – горло само хрипело и слова сухие чиркали по воздуху. Санька шел со студентами, все молчали, шли туда, откуда свернул Санька.

Все красные, будто не идут, а суются ногами. Свернули, и как ветром, дунуло из улицы навстречу треском кромешным, свистом, ревом, дребезгом. Рыбаков пошел, пошел, вобрал голову в поднятый ворот, через улицу, наискосок. Вон уж видно – машется все, ревет как полымя, и студенты гуськом за Рыбаковым косою линией через улицу, и вон поднял руку Рыбаков, сейчас выстрелит. Готово! Дымок дунул из револьвера – не слышно выстрела за ревом – и все, все пошли палить – прямо в толпу, в орево, в треск. И как ничего – все круче будто завертелось.

«Гух!» – с балкона грохнуло тяжелое. Еще, еще валят. Увидали! Увидали студентов – кинулось несколько, бегут. И дымки, дымки – упали двое – и вдруг другой голос пошел от толпы – бросятся? Санька стоял, как приклеился к мостовой. Часто, дробно – слышно, как щелкают выстрелы, уж покрыли рев, поверх крика бьют, и завыло, заголосило тонко, и уже нет впереди никого. Санька перевел дух – нет, бежит Рыбаков вперед, к углу, к площади, и студенты. Вон стал один – тычет рукой, заряжает, и вон Рыбаков уж за углом, и Санька двинулся и вдруг побежал туда за угол. Рыбаков под балконом, на обломках, на досках. Санька не понял, что делает он, толкнул с разбега Рыбакова, он полетел, скатился с рухляди и сзади крикнуло и разорвалось осколками зеркало. Рыбаков вскочил, озирался и вдруг крик хриплый – «Казаки!» – и вон по площади, из проулка, не могут по лому вскачь.

«Назад!» – Рыбаков взмахнул рукой и в тот же миг грохнули выстрелы – громом рвались, рассыпались в домах. Рыбаков махал рукой назад, – студенты бегом гнали в улицу, за

угол, направо, – какие-то прохожие, ворохи шапок в руках, Санька плохо видел их. Теперь налево, – студенты прятали на ходу револьверы, – руку за борт, в пазуху. Что это? У Рыбакова, у Рыбакова! Голубой околыш черный весь сзади – кровь! Ничего – идет, широко идет впереди. Слышно сзади в той улице подковы по мостовой, – бегом! за угол – Соборная площадь – вразброд всякие ходят.

– Они! Они! – кричит кто-то. Санька оглянулся, узнал: дворник тот самый, Андрей, где товар вывозили – тычет, тычет вперед пальцем, пробивается меж людей и все оборачивается. И вдруг Рыбаков перебежал через угол на тот тротуар и за ним в гуще все, и уж на том тротуаре. Санька видел, как сбился народ сзади.

– Бей! Бей их! Жидов!

И вдруг Рыбаков выхватил из-за пазухи револьвер, махнул – все вынули, все студенты – и пятятся, все попятилось назад, и студенты отходят задом к домам. Но – что это все вбок глядят, не на них, а вбок? Санька увидал, как бежали серые шинели, сбоку, с площади. Вдруг стали – шарахнулась вбок толпа. Целятся солдаты – студенты дернулись куда-то, где они, где? Санька озирался и вдруг опрометью бросился назад к дому, влетел в открытые ворота за выступ. Дверь какая-то, человек в белом, в халате каком-то, дернул Саньку за рукав, втолкнул в дверь, втащил куда-то, темно – Санька не понимал, куда его тащит человек.

– Сюда, сюда! – шептал человек.

Вот светло, комната. Женщины какие-то тоже в белом – и банки, банки по стенам – перевязывают. Всех перевязывают. Санька тяжело дышал, а его толкал человек на табурет, и вон уже быстро, быстро крутят на голову бинт, и что говорят, не понять, не по-русски, быстро, быстро – по-польски, что ли. Вон из белого глаза торчат, точно остановились, как воткнулись.

– Где это, где это? – сухим горлом говорил Санька.

– Аптека Лозиньского, здесь аптека. Ложитесь – прямо на пол под стенкой, скорее.

Саньку за руку вела к углу барышня в белом, крепкой ручкой, нахмуренная, красная.

Санька лег на белую простыню на пол, и вдруг за окном шарахнули два выстрела.

– В аптеку не стреляют! – и человек в белом помотал головой. – Не! Пугают. Они знают, где можно. Лежите! – крикнул и быстро вышел в дверь.

Рядом с Санькой лежал человек в штатском, голова как шар, в бинтах. Он хрипел, и дергалось все тело. И вдруг он вскочил, как пружина, заскакал ногами – как в мешке и – Ва! Ва! – пронзительно вскрикивал, звенело в ушах – все дернулись, из дверей выскочил фармацевт в белом, он ловил человека, а тот дергался вверх – взлетал на пол-аршина, взметывал руками. Санька бросился – человек с невероятной силой изгибался, как огромная рыба, – его держали на воздухе, он вырывался у пятерых.

Санька отрясывал голову от крика и все сильнее, сильнее сдавливал больного отчаянными руками.

Руки

<...> Тайка была уж на площади, трясла головой, стряхивала слезы – скорей в городской сад, чтоб не видели. Тайка не замечала, что густо, очень густо толпился народ; она пробивалась в ворота сада, – в саду никого не бывает. А в саду народ, гимназисты какие-то – полным-полно. Нет, хоть не глядят. Все глядят вон туда. Тайка достала платок, сморкалась и слезы заодно – тайком, незаметно вытирала. Что это? Торчит какой-то. Гимназист на скамейку, что ли, встал. И все туда глядят. Скажите, каким барином стал и руками, руками-то как. Подумаешь! Но сзади напирала – о! и семинаристы. Гимназистки, хохотушки противные, и Тайке боязно было, что глядеть станут, что ревели, и пудра вся пропала. Чего это он?

– Что ж нам предлагает царское правительство? – слышала Тайка высокий голос в сыром глухом воздухе. – Оно предлагает нам не Учредительное собрание, которого...

«Да это Кузнецов, – вдруг узнала Тайка, – Сережка Кузнецов, он в эту... в Любимцеву-Райскую влюблен, букеты на сцену кидал и все в оркестр попадал. Выгоняли, говорят, из гимназии».

– Что такое, что такое? – громко говорила Тая, на нее шикнула гимназистка – ух, злая какая! Фу! злая! – и Тайка старалась выбраться из толпы и осторожно сверлила плечом, как бывало в церкви.

«Началось, а вдруг началось».

Не дотискаться к воротам, и прут, прут навстречу, сбивают назад, и уж по траве, по кустам, как попало, ломят прямо. Закричали там чего-то. Тайка оглянулась: на месте Сережи уже какой-то бородатый. Фу! не узнала – доктор! доктор Селезнев, и все в ладоши забили. Тайка снова рванулась к выходу – ох, наконец! Свободней на площади. Ой, давка какая у театра. Ничего, через артистическую дверь, ничего, пожарный там, он знает, пропустит, и Тайка бегом перебежала свободный кусок площади. Дернула дверь – заперто. Тайка дернула еще раз ручку, рванула еще. Идет – вон в каске уже – пожарный, началось, значит, если в каске, а то в фуражке он с синим околышем, с кокардой – говорит за стеклом, не слышно.

– Пустите, ради Бога, на минуту! – кричала Тайка в самое стекло, стучала пальчиками. – Пожалуйста! Очень! Миленький, золотой!

«Отмыкает, отмыкает! – нет, приоткрыл только».

– Барышня, – говорит в шелку, – не надо, идите домой, домой ступайте. Нехорошее сегодня.

– Ничего, на минутку, я сейчас назад, домой, ради Бога, миленький. – И Тайка ухватила за створку дверей, вцепилась пальчиками – пусть прищемит.

Пустил!

– На один момент, – кричит вдогонку, – эй!

А Тайка бежала уж по лестнице, и вот он, коридор, – пусто, слава Богу! – вот дверь, французский замок, а там уж за дверью гул, так и бурлит, так и барабанит в дверь – народу- то, должно, и Тайка повернула замок, с трудом пихнула дверь – и яркий плеск голосов обхватил голову. Тайка захлопнула за собой дверь. Гуца! Вот гуца – как никогда. Вяльцева приезжала, и то такого не было – и не сидят, все вплотную стоят в партере. А в ложах-то! Вывалятся сейчас через край. Тайка вспотела, покраснелась от давки, от толчеи. В зале все в пальто, в шапках. Тайка пробивалась к барьеру оркестра. Что это? Там тоже полно и тоже в шапках, шляпы, фуражки, и все головы шевелятся, вертятся – и нет, совсем нет музыкантов. Тайку придавили к барьеру, а она все вглядывалась в головы внизу – может быть, он тоже в шляпе, как все. Тая искала котелок, тщательно просматривала по кускам, будто искала на ковре копейку. И вдруг все захлопали. Тайка увидела, как поднялся занавес.

На сцене стол с красным сукном, и сидят вокруг, как на экзамене, – и вдруг встали все за столом, и в театре все хлопают, хлопают, и кто-то кричит за Тайкой зычно, по слогам:

– До-лой са-мо-дер-жа-ви-е! До-лой! – как стреляет.

Один за столом поднял руку – стали замолкать, тише, тише.

А этот вдруг по тишине зыкнул:

– Долой са-мо-державие!

И тот с рукой со сцены улынулся весело и снисходительно в его сторону.

– Господа! – крикнул со сцены и опустил руку. – Господа! Первым долгом я считаю нужным огласить акт... то есть манифест, данный семнадцатого октября...

Известно всем! – гаркнул за Тайкой опять этот зыкало, и все закричали. Ух, шум какой невообразимый. Нет, нет котелка, или не нашла. Стихли опять.

Господа! – опять крикнул со сцены – кто это? Тайка глянула – знакомый будто? Да, да, из управских, из земской управы, как его – статистик! – вспомнила Тая. – Гос-по-да! Объявляю митинг открытым. Слово принадлежит товарищу Кунцевичу.

Вышел худой из-за стола вперед, высокий, с бородочкой. – Громче! громче! – орут все. А он краснеет. Что же это?

...свобода союзов!.. – услышала Тайка. – Свобода объединяться...

«Вон! вон котелок, вон там за серой шляпой». – Тайка дернулась вправо, протискивалась вдоль барьера.

– Куда несет? Да стойте на месте! – и Тайку спирали, не пускали, и прямо уж перед нею надрывался хриплый голос Кунцевича:

– Мы требовали самодержавия народа! Народопрямство!.., царь... правительство...

Тайка уж видела, что это он, он – крохотный кусочек щеки увидела меж голов – он! он! – Тайка вдавилась в толстого по дороге, его бы только перейти. Тайка не спускала глаз с Израиля.

Мигнуло электричество. Еще раз – притухло – можно было просчитать три. И что это кричит кто-то сверху? И вон со сцены все глядят вверх, на галерку, кто-то машет руками: всех как срезало голосом этим; все обернулись, и только шелест на миг – и вот крик сверху:

...а в городском саду конные стражники! Избивают! Нагайками детей!

Гулом дохнул театр, и крик поверх гула:

– На площади полиция! Конные жандармы! Театр хотят! поджечь!!

Крикнул он со всей силы. И сразу вой набил весь театр, вой рвался, бился под куполом.

Тайке казалось, что сейчас не выдержит, оборвется и грохнет вниз огромная люстра под потолком, ей казалось, что свет задергался, задрожал от крика. Она видела, как дернулись все там, внизу, в оркестре, черной массой сбились вправо и в маленьких дверках вон, вон, душат, душат человека, спиной к косяку. Мотает головой, рот открыл, глаза вырвутся! Тайка заметалась глазами, где Израиль? Что это? Израиль выше всех, под стенкой, под самой рампой. Встал на что-то, на стул, что ли. Стоит и футлярчик под мышкой. Но в это время Тайку сзади прижали к барьеру, совсем сейчас перережут пополам – впились перила. Израиль смотрит прямо на нее, брови поднял и машет рукой, каким-то заворотом показывает. Тайка со всей силы старалась улыбнуться – Израиль что-то говорит – одни губы шевелятся и усы – ничего не слышно – но ей! ей! Тайке говорит, Тайке рукой показывает. Ух, какой он! Приказательный, как папа прямо. И вдруг отпустило сзади на миг, и Тайка дернулась – ноги онемевшие, как отрезанные, и все-таки ноги поддали, и Тайка боком вскарабкалась на барьер и перевалилась. И вдруг за ней следом, сбоку, справа, слева, полезли люди, бросились, будто вдруг открылось, распахнулось спасение – они бросались вниз, прямо на головы, на сбившуюся гущу людей, топтали сверху ногами, потом проваливались и руками взмахивали, как тонут в реке. Тайка держалась за барьер, ноги нащупали карниз, на той стороне – Израиль! Израиль!

Израиль рукой, ладонью и футлярчиком оттирает от себя, будто прижимает ее к барьеру, притискивает через воздух, через дикий вой и говорит, говорит, широко говорит, ртом – скоро, скоро. Тайка глядела, держалась глазами за Израиля, а он выставил вперед руки, будто придерживал ее, чтоб не упала сверху. У Тайки немели руки, кто-то наступил на пальцы сапогом. Громадный мужчина ворочался внизу, он был уж без шапки и тяжелыми ручищами рвал соседей за лица, прорывался вперед к узкой дверке оркестра – красная шея, совсем красная, мясная, он вертел головой, потом вскинул руки, стал бить себя по темени, неистово, со всей силы. И вдруг вмиг стало темно – как лопнул, не выдержал свет. Крик притих на мгновение и взорвал последним оглушительным ревом – у Тайки задрожали руки. Она смотрела в темноту, в ту самую точку, где был Израиль, смотрела со всей силы, чтоб не потерять направления. Тайка не чувствовала рук, но руки держали, как деревянные, а внизу будто кипит, ревет огонь – сорвусь – конец, как в пламя, а там, на той стороне, – Израиль, и казалось, что видит, как он руками придерживает воздух, чтоб она не упала.

Мамиканян

Санька забыл снять с головы повязку, так и ходил в ней, как привезли его в университет, в клинику. Санька с жаром и с болью хватался за дело – вырывал носилки, чтоб тащить раненого. В дверях операционной хмурился профессор – руки высоко держал на отлете. Саньке хотелось скорей, скорей забить, заколотить муть.

«Не бежал же я, не бежал, не бежал!» – твердил в уме Санька и все что-то хотел отработать носилками – и вдруг Рыбаков бежит снизу по лестнице, ткнул в бок – «Ты что водолазом-то все ходишь?» – и кивнул на повязку. Санька вдруг вцепился руками в бинты и рвал, драл со всей силы. На него глядели, и вдруг все бросились к дверям, к окнам – все, кто был в вестибюле, и хозяева-медики в белых халатах. И Санька слышал:

– Оборонщики еврейские городских повели, глядите, глядите!

Санька вбежал во второй этаж и с площадки в окно увидел: человек двадцать мужиков, бледных, и кругом – ух, какие черные, какие серьезные, с револьверами. Головами как поворачивают – будто косят направо-налево. Вон студенты с винтовками – винтовок-то пять, кажется. Повели, повели – в подвал! В мертвецкую! Пошли, гуськом пошли в ворота оборонщики. И опять екнуло в душе – не мог бы, не мог бы, ни за что не мог бы, как они. Санька пошел вниз и сжал губы – отвратительно, как вздрагивают на ходу коленки.

– Этого не будет, сейчас не будет! – и неверно топала нога о ступеньку, и Санька отмахивался головой. – Не будет, говорю! – и коленки дергались.

И вот опять острый рожок «скорой помощи».

– Я пойду! Сам пойду, – вон ведут вниз, а он отмахивается рукой, без шапки, вся голова в крови и все говорит, говорит. Санька не мог отвести глаз от этого человека: кто, кто это? Филипп! Надькин Филипп, и Санька сбежал оставшиеся ступеньки, и уж Филипп увидел, и глаза, как в лихорадке.

– А, да-да! Слышь! Как тебя! Санька, что ли. Я только, понимаешь, рванул этого, что впереди, – Филипп дернул рукой в толпе студентов, – да дай ты мне сказать! Я его раз! И тут этот справа маханул железной, и я все равно, опять же... а он, понимаешь, я этого, да стойте, братцы, не тащите, куда идти? Куда идти-то теперь? – И Филипп оглядывал всех вокруг. – Дайте скажу!

Санька все глядел, не отрываясь, и задыхался.

– Да ведите вы его, вы! – толкал кто-то Саньку.

– Да-да! – говорил Санька. – Как, как говоришь? – и он взял Филиппа под руку.

– Да я говорю, понимаешь, этого суку, что впереди, я раз! И сюда – он брык.

Санька вел Филиппа все ближе, ближе к операционной, и Филипп не умолкал, он вошел, все глядя на Саньку, он не чувствовал, как профессор щупал голову, садился, куда толкали, не чуял, когда подбривал студент наспех волосы.

Санька зажмурил глаза, когда профессор стал долбить Филиппу череп.

– Ничего, ничего, говорите, он ничего не чувствует... без всяких... хлороформов, – стучал профессор, – к чертям тут хлороформ... шок, а вы... – и профессор стучал, – хлороформы.

Санька не мог смотреть, и его мутило, как будто от переплета Филипповых слов. Санька вышел в коридор, на лестницу, и крик, крик пронзительный ахал эхом в гулкой лестнице. В дверях столпились у носилок.

Была ночь, и в полутемном коридоре, в пустом, каменном, глухо урчали голоса в углу у окна. Студенты-армяне. И голоса то поднимались до темного потолка, то снова забивались в угол. Санька медленно подходил. Говорили непонятно, по-армянски. А за окнами улица пустая, без фонарей, и только черным поблескивала грязь против окон клиники.

Может, еще будут, и я пойду. Непременно, может быть, пойду, – шептал Санька. – Если б видел, как уходил Рыбаков с оборонщиками, я б... Во дворе видел – мог же догнать. Бегом, на улице догнал бы. – Санька топнул ногой, затряс головой и повернул назад. И вдруг армяне всей кучей двинулись, и Саньку обогнали двое. Один шел в бурке вперед, а тот его ловил за плечо и что-то громко говорил. И вдруг из полутьмы русский голос навстречу – Рыбаков!

– Ей-богу, никуда, никуда не пойдете. Я сейчас со Слободки, честное слово: патрули, патрули, заставы солдат – и палят чуть что. Охраняют. Погром охраняют. Вот там на углу чуть не застрелили, два раза стреляли, пока сюда добежал. Никуда! Да-да! Громят у Московской заставы. Дайте покурить, у кого есть?

Санька быстро полез в карман, совал Рыбакову последнюю папиросу, боялся, что другие успеют сунуть.

– Мамиканян! Мамиканян! – двое бросились за студентом в бурке.

Рыбаков обернулся.

– У него мать в Баку татары зарезали, так он хочет идти, – студенты кивали на Мамиканяна.

– Ерунда! – кричал вслед Рыбаков. – Ни за понюх пропасть. – Пыхая папироской, Рыбаков бегом нагнал Мамиканяна, повернул к себе. – Ну зачем? – Зачем?

Все замолкли.

– Не могу. Надо. Мне надо, – сдавленно сказал вполголоса и дернул чем-то под буркой.

– Карабин у него, – и студенты тыкали пальцами в бурку, взглядывали на Рыбакова.

Мамиканян отвернул плечом и быстро зашагал по каменному полу. Его отпустили и через секунду бросились за ним. Санька бежал с кучкой студентов, он слышал, как в темноте быстро шаркали ноги, а за этими ногами поспеть! поспеть! Сейчас же! – хлопнула внизу дверь, и Санька бежал следом и еще поддал перед дверью, чтоб скорей, срыву вытолкнуть себя – проклятого себя! – на улицу.

Тихой сыростью дохнул навстречу двор, а Санька не сбавил ходу, он видал при свете фонаря у ворот, как черная бурка свернула вправо. Трое студентов догнали Саньку. Они тихо шли под стенкой. Мамиканян громко шагал посреди панели. И вон на углу фонарь – мутный шар над подъездом. И вон они – солдаты. Штук пять.

Санька прижался к стене.

– Мамиканян! – хрипло позвал кто-то сзади. И стало тихо, только ровно шагал прямо на солдат Мамиканян. Санька без дыхания смотрел вперед. Вот уж солдаты смотрят, один голову пригнул.

– Кто идет!.. Обзывайся! Стой! – солдат с винтовкой наизготовку: – Стой!

Мамиканян стал.

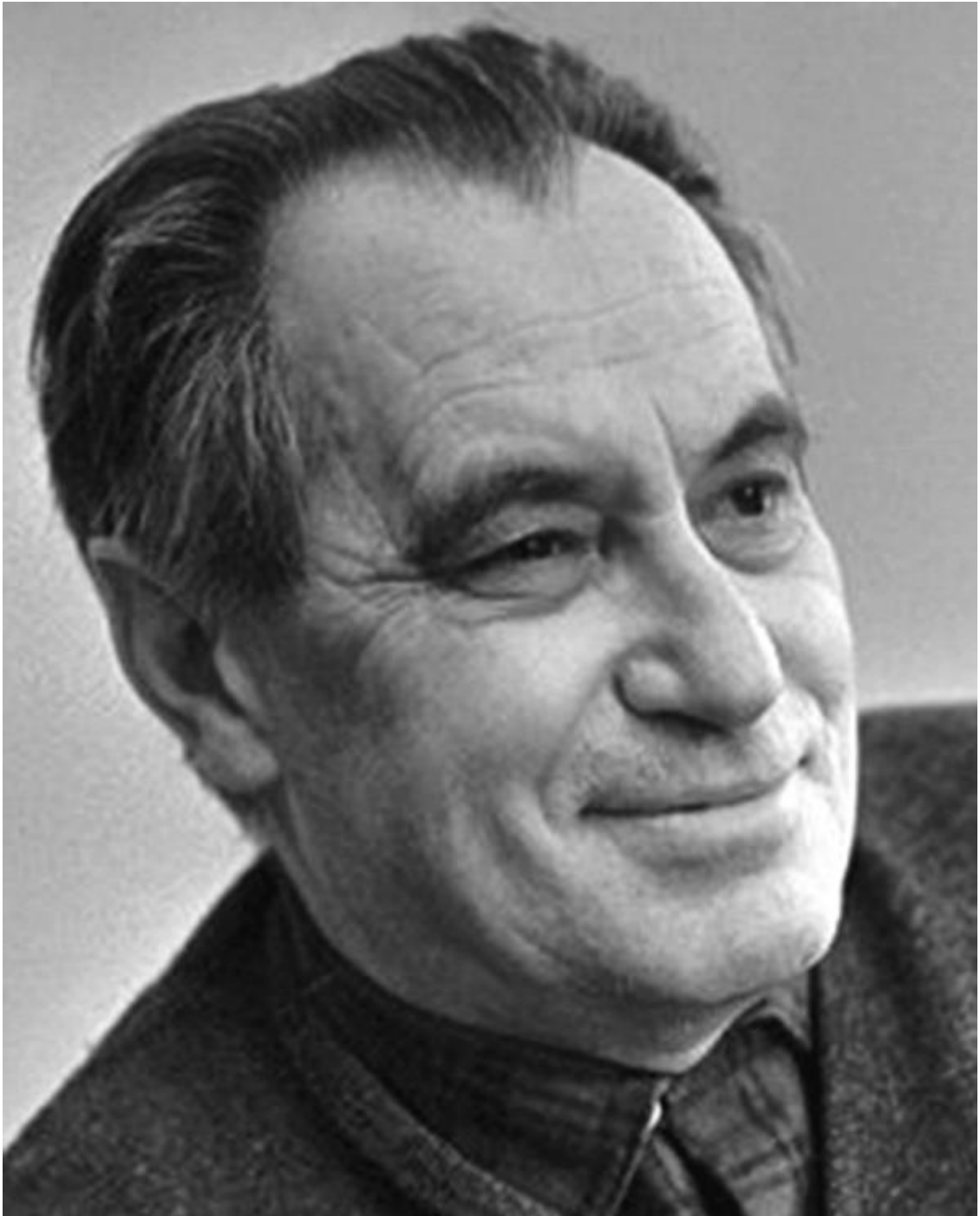
– Оружие есть? – обступили. Тащут! Тащут из-под бурки. – Стой! Из этого самого его!

Мамиканян черной доской стоял недвижно.

«Неужели?»

– Мамиканян!!! – заорал Санька, и заорала вся глотка на всю улицу, и в тот же момент грохнул выстрел и следом второй. Санька видел, как рухнул Мамиканян, и вся кровь бросилась в глаза, и Саньку несло вперед, чтоб врезаться, разорвать! – и вдруг нога запнулась, и Санька с разлету стукнул плечом в тротуар. И темней, темней становится в голове. И отлетел свет.

Валентин Катаев **(1897–1986)**



Писатель, поэт, драматург. Родился в Одессе. Первая публикация – стихотворение «Осень» – появилась в 1910 г., а в 1912 г. были опубликованы первые рассказы. Дружба с Юрием Олешей и Эдуардом Багрицким положила начало знаменитому кружку молодых одесских литераторов. В 1915 г. вступил добровольцем в действующую армию, был дважды ранен. Во время Гражданской войны служил в Белой армии. Был арестован ЧК, но его спас его одесский друг чекист Яков Бельский. В 1921 г. Катаев переехал в Харьков, потом в Москву. Во

время войны был военным корреспондентом. В 1955 г. основал журнал «Юность» и до 1961 г. был его главным редактором. Лучшие произведения созданы в последние десятилетия жизни. Это художественные хроники семьи, разрушенной жестоким веком революций и войн, обаятельные образы одесского детства и юности.

Разбитая жизнь, или волшебный рог Оберона

(главы)

Замерзшее море

Знакомое побережье было загромождено плоскими, довольно толстыми льдинами, свешившимися на месте обломов зелено-голубым стеклом черноморской воды; сверху они были сахарно-белые, и по ним можно было шагать не скользя; но трудно было перелезть с одной вздыбленной льдины на другую; иногда приходилось садиться на поднятый край одной льдины, спуская ноги на другую, или же прыгать, упираясь одной рукой в обломанный край, на вид хрупкий, а на самом деле крепкий, как гранит. По этому хаосу нужно было идти довольно долго, прежде чем нога ступала на ровное поле замерзшего до самого горизонта моря. Впрочем, по этому на вид ровному ледяному пространству идти было нелегко: то и дело на пути попадались спаи между отдельными льдинами, небольшие торосы и рябь волны, внезапно схваченной морозом и превращенной в льдину.

До самого горизонта под ярким, холодным солнцем, сияющим, как ртутная пуля капитана Гаттераса, блистала нетронутая белизна соленого, крупно заиндевевшего льда, и лишь на самом горизонте виднелись иссиня-черная полоса открытого моря и силуэт вмержшего в лед иностранного парохода-угольщика.

Под ногами гремел лед, давая понять, что подо мною гулкое, опасное пространство очень глубокой воды и что я шагаю как бы по гулкому своду погреба, мрачная темнота которого угадывалась подо мною в глубине.

Я помню скопления белых пузырьков воздуха, впаянных в толщу льда, напоминавшие ландыши.

Справа и слева выпукло белели ярко освещенные январским солнцем маяки – один портовый, другой большефонтанский – и маленький ледокол, дымивший у входа в Практическую гавань, напоминая знаменитый «Фрам» Фритьофа Нансена, затертый до самых мачт в арктических льдах, под нависшим над ним органом северного сияния. Надо всем этим синело такое яркое небо и стояла такая высокая, неестественная тишина и таким нежно-розовым зимним цветом был окрашен берег Дофиновки, безукоризненно четко видневшийся сквозь жгучий, хрустальный воздух, от которого спирало дыхание и мохнатый иней нарастал на краях верблюжьего башлыка, которым была закутана моя голова поверх гимназической фуражки, что четырнадцать градусов мороза по Реомюру казались температурой, которую немислимо выдержать ни одному живому существу.

Однако вдалеке на ледяном поле кое-где виднелись движущиеся человеческие фигурки. Это были горожане, совершающие свою воскресную прогулку по замерзшему морю, для того чтобы поглазеть вблизи на заграничный пароход.

Лазурная тень тянулась от каждого человечка, а моя тень была особенно ослепительна и велика, переливаясь передо мной по неровностям ледяного поля и перескакивая через торосы.

Наконец я добрался до кромки льда, за которой в почти черной дымящейся воде стоял громадный темно-красный корпус итальянского угольщика с белым вензелем на грязно-черной трубе, вензелем, состоящим из скрещенных латинских букв, что придавало пароходу странно манящую, почти магическую притягательную силу.

Очень высоко на палубе стоял итальянский матрос в толстом свитере, с брезентовым ведром в руке и курил длинную дешевую итальянскую сигару с соломинкой на конце, а из круглого отверстия – кингстона с высоты трехэтажного дома непрерывно лилась, как водопад, вода из машинного отделения, оставляя на старой железной обшивке уже порядочно наросшие ледяные сосульки.

Итальянский матрос махал кому-то рукой, и я увидел две удаляющиеся к берегу фигурки, которые иногда останавливались и, в свою очередь, махали руками итальянскому матросу. За ними тянулся двойной лазурный след салазок, которые они тащили за собой.

Погуляв по кромке льда и налюбовавшись итальянским угольщиком, я отправился обратно. Солнце уже заметно склонилось к западу, за город, за белые крыши со столбами дыма, за синий купол городского театра, за памятник Дюку.

Мороз усиливался с каждой минутой. <...>

Музыка

Мама держала меня за пухлую ручку, и таким образом мы дошли до ближайшего от нашего дома угла, где помещалась почтовая контора. Я еще никогда не заходил так далеко. В своем маленьком темно-синем пальтишке с золочеными якорными пуговицами я едва доставал до края маминой жакетки, обшитой тесьмой, так что в то время, как мама отправляла заказную бандероль, ничего особенно интересного в почтовой конторе я не заметил, если не считать крашеного железного сундука с двумя висячими замками и сильного запаха где-то за мамой дымно пылающего сургуча и отблесков его бурлящего багрового пламени.

На том же углу была будка, возле которой остановилась мама и, подняв вуаль с подбородка до носа, выпила стакан зельтерской воды, а я в это время держался за подол ее суконной юбки и, приподнявшись на носки, старался увидеть, что там делается в глубине будки, но ничего интересного не заметил, кроме двух стеклянных спаренных баллонов. В одном был красный, а в другом желтый сироп. И я попросил, чтобы мне дали попробовать. Но мама засмеялась и не позволила.

Пока она вынимала из своего черного муарового мешка, обшитого стеклярусом, маленькое портмоне, я смотрел вдоль улицы, несколько наклонно уходящей в беспредельное пространство каменного города, этого не совсем понятного для меня скопления домов, улиц и церквей с голубыми куполами.

Отсюда я не видел никакого движения, никаких признаков городской жизни, лишь чувствовал его по каким-то неясным для меня самого признакам.

В то время, помню, я заинтересовался новой оградой возле небольшого, одноэтажного домика почтовой конторы: эта ограда была сложена из новеньких, только что выпиленных брусков камня ракушника, причем бруски эти были положены через один, так что весь невысокий забор состоял как бы из прямоугольных пустот, перемежающихся с каменными брусками, в которых местами поблескивали морские ракушечки.

Через этот сквозной низкий забор легко можно было перелезть, и я уже собирался, отойдя от мамы, это проделать, даже поднял ногу в башмачке с помпоном, как вдруг мой слух привлекли какие-то совсем слабые, но настойчивые слитные музыкальные звуки, долетавшие издали, оттуда, где, раскинувшись, лежало пространство города, его каменное тело, его центр.

Я остановился, очарованный этим странным звуковым явлением, и долго прислушивался, напрягая слух, так как без его напряжения эти слитные звуки пропадали.

– Музыка, – сказал я, дергая маму за юбку.

Она с удивлением посмотрела на меня сверху вниз своими удлинёнными глазами сквозь мутную вуаль и сквозь пенсне.

– Музыка, музыка, – повторил я. – Слышишь?

– Где музыка? Какая музыка? – спросила она.

– Там! – ответил я, протягивая руку в перспективу улицы. – В городе.

– Мы тоже в городе, – сказала мама.

– Да, но там настоящий город, там музыка.

Мама засмеялась.

– Не слышу никакой музыки. Все тихо.

– Нет, музыка, – упрямо повторил я.

– Ты ужасный фантазер, – сказала она и, взяв меня за ручку, повела по нашей

Базарной улице обратно домой, но все равно по дороге, стуча новыми башмаками по плиткам лавы, которой были замощены многие улицы нашего города, я слышал за своей спиной странную, ни на что не похожую музыку, то как бы отливавшую, то приливавшую, то смолкавшую, то усиливающуюся.

Что же это было?

Долго я не мог этого понять, но однажды совершенно неожиданно понял: это было нечто составленное из еле слышного дребезжания извозчичьих пролеток, цоканья копыт, шагов людей, звонкого погромыхания конок и трамкарет, похоронного пения, военной музыки, стрекотанья оконных стекол, шороха велосипедов, гудков поездов и пароходов, рожков железнодорожных стрелочников, хлопанья голубиных крыльев, звона сталкивающихся буферов товарных вагонов, шелеста акаций, шуршания гравия в Александровском парке, треска воды, вылетающей из шланга садовника, поливающего где-то розы, набегающего шороха морских волн, шума базара, пения нищих слепцов, посвистыванья итальянских шарманок...

Уносимые куда-то морским ветром, все эти звуки составили как бы музыку нашего города, недоступную взрослым, но понятную маленьким детям.

Фейерверк

Он продавался не только в игрушечных магазинах, но также в мелочных, бакалейных и табачных лавчонках. На листе картона были прикреплены образчики всех видов фейерверка.

...ракеты, бураки, римские свечи, золотой дождь, солнце, бенгальский огонь, шутихи, телефон... и их младшие сестры – бальные митральезы.

Это были разных размеров и калибров картонные трубки, наполненные таинственным серым порошком и заклеенные сверху цветной папиросной бумагой, из-под которой высовывался кончик фитиля, черного, как сухая чайинка.

Не у всех у них были одинаковые формы. Так, например, тонкие и длинные, как макароны, трубочки шутих были сложены в несколько колен и крепко перевязаны посередине шпагатом, что делало их похожими на букву «ж» с фитильком, торчащим из одной лапки; солнце представляло собой знак вечного движения – нечто вроде форсунки, составленной из четырех трубочек, все тем же особым, тонким и очень крепким шпагатом привязанных к картонному квадрату с дырочкой посередине для гвоздика, с помощью которого солнце можно было

прибить к столбу или дереву. После того как фитиль был подожжен, оно сначала робко разбрызгивало вокруг себя струйки золотых искр, а потом вдруг начинало бешено крутиться, действительно превращаясь из неподвижного картонного квадрата в слепящий солнечный диск, охваченный протуберанцами золотых вихрей; подожженная мальчиками шутиха прыгала по земле как дымящаяся лягушка, зигзагами металась по улице, на каждом повороте своем стреляя пороховым зарядом, пугая собак, извозчичьих лошадей, прохожих и велосипедистов; толстую трубу бурака глубоко закапывали в землю, и из него, как из мортиры, с громом вырывались огненные снопы; римские свечи были несколько потоньше и подлиннее бурака, их также закапывали в землю, но не так глубоко; из них один за другим с равными промежутками вылетали горящие шары, что отдаленно напоминало ствол мальвы, покрытый чередующимися бутонами желтых и малиновых цветов; больше всего нас, мальчиков, восхищал телефон – картонная трубка, которая горизонтально бежала по туго натянутой проволоке, распустив за собой хвост золотого песка, пока не хлопалась о ствол дерева и, почерневшая, полубогоревшая, лишенная сил, вдруг останавливалась, истратив весь запас своего сухого горючего и превратившись в труп; великолепны были бенгальские огни, которые, как бы вспухая в разных местах ночного приморского сада, окрашивали в разные неестественно резкие цвета все дачные аксессуары, внезапно выступавшие из ночной синевы: гипсовые статуи греческих богинь, фонтан, сложенный из ноздреватого известняка, решетчатую беседку над обрывом, низкую мраморную скамью с двумя прильнувшими друг к другу фигурами мужчины и женщины; золотой дождь бил фонтаном из скромной картонной трубочки, которая так и называлась «золотой дождь».

Но больше всего поражали мое воображение ракеты – трубочки, привязанные к концам тонких длинных сосновых лучин.

...Фейерверк возили из города на дачи: большие пакеты, завернутые в тонкую бумагу, почти невесомые, как пакеты белья, полученного из прачечной, причем этот пакет с фейерверком, так же как пакет с бельем, был сколот маленькими булавочками...

Что касается ракет, то их возили тоже завернутыми в папиросную бумагу, как букеты гладиолусов, но только самоварные лучины их ножек длинно высывались из свертка и всегда было страшно, что их могут обломать в вагонной давке. Дачники и гости везли фейерверк на дачи разными путями: на конке, которая, визжа своими чугунными тормозами, ходила тогда до самой Аркадии, где среди глинистых откосов и ракушниковых карьеров поили лошадей и перепрягали в обратную сторону, головами к городу; их везли в открытых экипажах с блестящими, потрескавшимися от жары кожаными крыльями господ в чесучовых костюмах и панamaх с шелковой полосатой ленточкой, в соломенных американских шляпах, которые – ходили слухи – стоили сто рублей...

Наконец, фейерверк везли в переполненных вагончиках дачной узкоколейки с совсем игрушечным паровичком с головастой трубой и медным свистком, оглашавшим окрестности тоненьким, но отчаянно резким, залихватским посвистыванием, улетающим сквозь дачные сады к обрывам, в море, где на горизонте всегда темнела полоска пароходного дыма или белели паруса яхт.

...По вечерам вдоль моря, в пыльной зелени дачных садов, то тут, то там слышался праздничный треск фейерверка, били фонтанчики золотого дождя и дымно горели разноцветные зарева бенгальских огней.

А еще позже, уже почти ночью, когда на сером небе высыпали мириады мириадов млечных июльских звезд, начинали пускать ракеты, и особенно печальна была последняя ракета, как бы возвещавшая о наступлении полночи и конце увеселений.

В темноту небосвода уходила с побережья прямо в звезды ракета, иногда несколько последних ракет одновременно. Они распадались, как отдельные колосья развязанного снопа. Достигнув высшей точки, они лопались, причем звук разрыва доходил до земли значительно позже, чем немое зрелище их огненного распада. Впоследствии я прочитал у Бунина:

«Был поздний час – и вдруг над темнотой, высоко над уснувшей землею, прорезав ночь оранжевой чертой, взвилась ракета бешеной змеею. Стремительно порыв ее вознес... Но миг один – и в темное забвенье уже текут алмазы крупных слез, и медленно их тихое паденье».

Фейерверк изготовляли на небольших фабриках, за городом. Одну такую фабрику я хорошо помню. Она находилась за глухим каменным забором в приморском переулке, выходящем на Малофонтанскую дорогу. Забор был выбелен мелом, и во всю его длину тянулась надпись черными буквами в рост человека:

«Пиротехническое заведение „Фортуна“»

За забором виднелась железная крыша заведения и верхние части таинственных окон. Приставив к забору несколько строительных ракушниковых камней, можно было взобраться по ним и заглянуть в окна мастерской, где стояли деревянные станки для крепкого завязывания и перевязывания шпагатом уже готовых картонных трубок. В этих станках чудилось что-то средневековое, как будто бы их нарисовал Дюрер, но люди, работавшие возле них, ничем не отличались от обыкновенных городских ремесленников – те же черные жилетки поверх сатиновых косовороток навыпуск – с цветными стеклянными пуговичками, те же усы и бороды и тонкие ремешки на головах – шпандыри, – чтобы волосы не лезли в глаза, как у сапожников. В других помещениях пиротехнического заведения «Фортуна» катали картонные трубки и толкли в ступках пороховую смесь серы, селитры, порошка древесного угля, бертолетовой соли, а затем, приготовив из этого тесто, набивали им картонные трубки и вставляли фитильки. Штабеля готового фейерверка сохли вдоль ракушниковых стен, и ракеты стояли по ранжиру, как солдаты, от самых крупных, дорогих, до самых маленьких – пятикопеечных, на хилых ножках, из числа тех, которые иногда покупали в складчину уличные мальчишки.

Однажды я купил такую ракету, непрочно привязанную к тонкой сосновой лучине с сучками и задоринками.

Для того чтобы запустить ракету, ее нужно было прислонить к чему-нибудь вертикально и поджечь фитилек. Тогда с бешеным шипеньем, ударив в землю струей золотого дождя, ракета взвивалась к небу, оставляя за собой огненный рассыпчатый след, извилистый потому, что вес ее головки и длина ножки были неточно сбалансированы.

У меня не хватило терпения дожидаться вечера, и, окруженный своими друзьями, так называемой «голотой», я торопливо прислонил ракету к обочине мостовой, а проходящий мимо великовозрастный гимназист дал мне свою дымящуюся папиросу, которую я поторопился приложить к фитилю.

Из ракеты вырвалась струя золотого дождя. Ракета, повинувшись силе реактивного взрыва, подпрыгнула на своей жалкой, тонкой ноге, но сейчас же потеряла баланс, так как ножка сломалась, и ракета упала на мостовую, как потерявший костыли безногий, забилась на месте, потом как бы в беспмятстве поползла по ломаной линии, волоча за своим как бы обрубленным телом сломанную ногу, и, наконец уткнувшись в ствол акации, замерла навсегда, выпустив из себя облачко тухлого дыма, как душу, которая тотчас рассеялась в огромном мире.

Мы стояли пораженные этой ужасной гибелью и чуть не плакали, как будто бы у нас на глазах погубило живое, разумное существо, а вместе с ним все наши надежды, не говорю уже о моем пяточке.

Время от времени пиротехнические заведения горели, и тогда вокруг них собирались, как на большой народный праздник, толпы зрителей: это была дымно-огненная, разноцветная, стреляющая и крутящаяся стихия; сквозь нее как бы проглядывало нечто средневековое, даже еще более глубоко древнее – какое-то китайское празднество, когда по улицам Шанхая, Пекина, Кантона двигались процессии сынов поднебесной империи, в треске прыгающих шутих и пушечной пальбы бураков несущие на палках длинных драконов из папиросной бумаги...

Угольки вылетали из пожара и падали на дымящуюся полынь пустырей. <...>

Слон Ямбо

– «Меня уже с пеленок все пупсиком зовут. Когда я был ребенок, я был ужасный плут. Пупсик, мой милый пупсик» – и тому подобный вздор.

В этот год в моде был «Пупсик», песенка из оперетки того же названия.

Мотив из «Пупсика» доносился из Александровского парка, где его исполнял военный духовой оркестр под управлением знаменитого Чернецкого – со вставным стеклянным глазом, в парадном мундире одного из стрелковых полков «железной дивизии», расквартированной в нашем городе.

Этот же мотивчик исполнял возле открытого ресторана на Николаевском бульваре между памятником дюку де Ришелье и павильоном фуникулера другой оркестр под управлением еще более знаменитого маэстро Давингофа, который дирижировал, сидя верхом на жирной цирковой кобыле, все время вертевшей крупом и размахивающей хвостом в такт «Пупсику», причем сам маэстро Давингоф в длинном полотняном сюртуке, в белых перчатках, с нафабранными усами цвета ваксы, со шпорами на коротких сапожках, время от времени привстав в седле, раскланивался со своими поклонницами, местными дамами, высоко поднимая над лысой головой благородного проходимца свой серебристо-белый шелковый цилиндр. Вместо дирижерской палочки у него в руке была ветка туберозы, так что старомодный Чернецкий со своим вставным глазом не шел ни в какое сравнение с маэстро Давингофом, шикарным ультрасовременным дирижером, почти футуристом, хотя мотивчик из «Пупсика» был один и тот же.

«Пупсик» насвистывали студенты и гимназисты, фланируя под шатрами одуряюще-цветущей белой акации; звуки «Пупсика» с криком вырывались из граммофонных труб; «Пупсика» играли в фойе иллюзионов механические пианолы с как бы сами собой бегущими клавишами...

...Все это я должен объяснить для того, чтобы было понятно, почему именно на мотив «Пупсика» одесская улица стала петь совсем другие слова, относящиеся к событию, которое вдруг в один прекрасный день потрясло город.

Вот эти слова: «В зверинце Лорбербаума Ямбо сошел с ума. Говорили очень странно, что виновата в том весна. Ямбо, мой бедный Ямбо...» и т. д.

Эти жалкие куплеты отражали трагедию, случившуюся вскоре после пасхи на Куликовом поле, где уже все карусели и пасхальные балаганы были разобраны, кроме цирка шапито Лорбербаума, возле которого среди пустынной площади в виде приманки стоял на цепи слон Ямбо. Впрочем, у нас слово Ямбу произносили с ударением на первой гласной: Ямбо. И вот этот слон неожиданно сошел с ума и стал беситься, испуская зловещие трубные звуки, каждый миг готовый сорваться с цепи и ринуться по улицам города, ломая все на своем пути.

Куликово поле вдруг стало опасным местом, и лишь немногие смельчаки решались приблизиться к балагану Лорбербаума, где бушевал обезумевший слон. Они рассказывали разные небылицы, мгновенно облетающие город.

Лично я ничего не видел. Почти ничего. Может быть, самую малость, да и то издали: на фоне затоптанной пустынной площади горой поднимался серый силуэт слона с веерами рас-

топыренных ушей, с опущенным хоботом, качающимся с угрожающим, маниакальным постоянством, как маятник. Вероятно, это был короткий период депрессии, когда Ямбо, изнуренный порывами бессильной ярости, впал в тихое безумие и, тоскливо озираясь по сторонам, переминался всей своей громадной тушей на одном месте, оставляя на черной земле Куликова поля, покрытого шелухой подсолнечных и кабачковых семечек, отпечатки своих круглых подошв и месяцеобразных пальцев.

Эти тихие минуты были еще страшнее припадков буйства, когда слон приседал на хвост, пытаясь разорвать короткую цепь, прикованную к его передней ноге, крутился волчком и, подняв к небу хобот, издавал воинственные трубные звуки, заставлявшие всех вокруг дрожать от страха.

Люди обходили стороной Куликово поле, опасаясь, что слон наконец разорвет цепь и начнет все вокруг крошить и убивать своими короткими, наполовину спиленными бивнями.

В течение целой недели город занимался исключительно слоном. Ходили слухи, делались различные предположения. В газетах каждый день появлялись врачебные бюллетени о состоянии здоровья слона. Оно то ухудшалось, то улучшалось. Печатались интервью с городскими общественными деятелями и популярными врачами, которые в большинстве считали, что слон Ямбо сошел с ума на эротической почве, испытывая тоску по своей подруге слонихе Эмме, оставшейся в Гамбурге у Гагенбека, так как скряга Лорбербаум не захотел купить их вместе.

«Сын Африки тоскует по своей возлюбленной», – гласили заголовки копеечной газеты «Одесская почта», – «Сильна как смерть!», «Верните бедному Ямбо его законную половину», «О, если бы люди умели так горячо любить!», «Жители нашего города ежедневно подвергаются смертельной опасности: куда смотрит городская управа?» – и тому подобное.

<...>

...ходили слухи, будто ночью у Ямбо был такой припадок ярости, что пришлось вызвать пожарную команду из Бульварного участка, которая из четырех брандспойтов поливала свесившегося слона до тех пор, пока он не успокоился.

На следующий день припадок бешенства повторился с новой силой. Слон разорвал цепь, и его с трудом удалось снова заковать.

Положение с каждым часом становилось все более трагическим.

Городская управа заседала непрерывно, как революционный конвент: она требовала, чтобы Лорбербаум убирался из города вместе со своим сумасшедшим слоном или со гласился его уничтожить.

Лорбербаум упрямылся, ссылаясь на большие убытки, но в конце концов вынужден был согласиться, чтобы Ямбо отравили: другого выхода не было. В один миг распространились все подробности предстоящего уничтожения слона. Его решили отравить цианистым кали, положенным в пирожные, до которых Ямбо был большой охотник. Их было сто штук, купленных на счет городской управы в известной кондитерской Либмана, – два железных противня, сплошь уложенных пирожными наполеон с желтым кремом. Пирожные привез на извозчике представитель городской врачебной управы в белом халате и форменной фуражке.

Я этого не видел, но живо представил себе, как извозчик подъезжает к балагану Лорбербаума и как служители вносят пирожные в балаган, и там специальная врачебная комиссия совместно с представителями городской управы и чиновниками канцелярии градоначальника с величайшими предосторожностями, надев черные гуттаперчевые перчатки, при помощи пинцетов начинают пирожные кристалликами цианистого кали, а затем с еще большими предосторожностями несут сотню отравленных пирожных и подают слону, который берет их с противня хоботом и проворно отправляет одно за другим в маленький, недоразвитый рот, похожий на кувшинчик; при этом глаза животного, окруженные серыми морщинами толстой кожи, свирепо сверкают неистребимой ненавистью ко всему человечеству, так бессердечно разлучившему его

с подругой, изредка слон испускает могучие трубные звуки и старается разорвать проклятую цепь, к которой приклепано кольцо на его морщинистой ноге.

Съев все пирожные, слон на некоторое время успокоился, и представители властей отошли в сторону для того, чтобы издали наблюдать агонию животного, а затем по всей форме констатировать его смерть, скрепив акт подписями и большой городской печатью.

...О, как живо нарисовало мое воображение эту картину, которая неподвижно стояла передо мной навязчивым, неустранимым видением трудно вообразимой агонии и последних содроганий слона...

Я стонал в полусне, и подушка под моей щекой пылала. Тошнота подступала к сердцу. Я чувствовал себя отравленным цианистым кали. Поминутно в полусне я терял сознание. Мне казалось, что я умираю. Я встал с постели, и первое, что я сделал – это схватил «Одесский листок», уверенный, что прочту о смерти слона.

Ничего подобного!

Слон, съевший все пирожные, начиненные цианистым кали, оказывается, до сих пор живехонек и, по-видимому, не собирается умирать. Яд не подействовал на него. Слон стал лишь еще более буйным. Его страстные трубные призывы всю ночь будили жителей подозрительных привокзальных улиц, вселяя ужас.

Газеты называли это чудом или, во всяком случае, «необъяснимым нонсенсом».

Слон продолжал бушевать, и очевидцы говорили, что у него глаза налиты кровью, а из ротика бьет мутная пена. Город чувствовал себя как во время осады. Некоторые магазины на всякий случай прекратили торговлю и заперли свои двери и витрины железными шторами. Детей не выпускали на улицу. Сборы в театре оперетты, где шел «Пупсик», упали. Участились кражи. Положение казалось безвыходным. Но как всегда бывает в безвыходных положениях, в дело вмешалась армия. Генерал-губернатор позвонил по телефону командующему военным округом, и на рассвете, поднятый по тревоге, на Куликовом поле появился взвод солдатиков – чудо-богатырей, – молодцов из модлинского полка в надетых набекрень бескозырках, обнажавших треть стриженных под ноль, белобрых солдатских голов; они были в скатках через плечо, с подсумками, в которых тяжело лежали пачки боевых патронов.

С Куликова поля донесся до самых отдаленных кварталов города залп из трехлинейных винтовок Мосина, как будто бы над городом с треском разодрали крепкую парусину, – и все было кончено.

Когда вместе с толпой любопытных я робко приблизился к краю Куликова поля, то увидел возле зверинца Лорбербаума лишь вздувшийся горой кусок брезента, покрывавшего то, что еще так недавно было живым, страдающим слоном Ямбо.

...Он был навсегда излечен от своей неразумной страсти...

Город успокоился. Отцвели и осыпались как бы сухими мотыльками розовые и белые грозди душистой акации. Любовный чад рассеялся. И я стал опять хорошо спать и видеть легкие, счастливые сны, которые навевал на меня мой ангел-хранитель, чья маленькая овальная иконка болталась на железной решетке в изголовье кровати, над прохладной подушкой со свежей наволочкой.

Яков Бельский **(1897–1937)**



Писатель, журналист, карикатурист, представитель южнорусской школы в литературе. Друг В. Катаева, Э. Багрицкого, Ю. Олеши. Родился в Одессе, закончил Одесское художественное училище. В 1917 г. попал на фронт, стал большевиком. Воевал в Красной армии, потом боролся с антисоветским подпольем, служил в Одесской ЧК. Ушел из ЧК и переехал в Николаев, где стал редактором газеты, потом журналистом. С 1925 г. работал в Харькове. В 1930 г. переехал в Москву. В 1934 г. уволен из журнала «Крокодил» за «политическую неблагонадеж-

ность», спустя несколько месяцев стал журналистом газеты «Вечерняя Москва». В 1937 г. был репрессирован и расстрелян.

Американское наследство

После смерти отца мы поселились в четырехэтажном кирпичном доме на Базарной улице. Из окон нашей квартиры были видны серо-желтые стены соседнего дома. Только из одной комнаты открывался вид на длинный двор, вымощенный серыми квадратами лавы, которую итальянские пароходы компании «Ллойде-Триестино» брали с собой как балласт, когда шли за хлебом в Одессу. Тридцать одинаковых балконов, издали напоминающие клетки для птичек, уставленные всяким скарбом и вечно увешанные бельем, дополняли унылый пейзаж.

Стоило только пробежать несколько кварталов, и через белую арку, на которой было написано французское слово «Ланжерон», мы видели море. Ласковое или бурное, бирюзовое или черное, но всегда одинаково прекрасное. Вот почему одесситы полжизни проводят на улице, всегда веселы и никогда не унывают. И куда бы ни забросила их судьба, они всю жизнь вздыхают, вспоминая о море, и даже из далеких стран часто приезжают на родину умирать.

Но тогда, в чудесный майский день, о котором я хочу рассказать, мне было только десять лет, и я еще не знал цены этим богатствам. Море, и небо, и акации – все это было каждый день и рядом. Не надо было ждать целый год, как теперь, чтобы приехать на месяц к родным берегам. В десятилетнем возрасте мы этого не ценили.

Мы были самыми бедными в этом бедном доме на Базарной улице. У нас не было отца. Старший брат, студент, был репетитором и целый день бегал по урокам. Он должен был содержать семью и потому никогда не мог ходить на Ланжерон, к морю. Я его очень жалел. Иногда по утрам мать советовалась шепотом со старшей сестрой. По их озабоченным лицам я определял, что денег в доме нет. В таких случаях сестра долго бегала по квартирам соседей и приносила одолженный рубль в носовом платке.

Незадолго до происшествия, о котором я хочу рассказать, мы послали письмо в Америку, старшему брату отца, дяде Арию. По слухам, дядя был очень богат, холост и имел большую гостиницу в Бостоне. Мы просили помощи у богатого родственника. Ровно через месяц он прислал заказное письмо, в котором была вложена пятидолларовая бумажка. Из письма мы узнали, что старый холостяк стал активным деятелем какой-то христианской секты. Письмо содержало длинную, наставительную сентенцию-проповедь и призывало нас всех к смирению и к покорности воле всевышнего. В конце дядя просил, чтобы его больше не беспокоили.

Вечером того же дня состоялся семейный совет. Мать и старший брат казались очень смущенными.

– Моня, – сказала мама, обращаясь к старшему брату, – как ты думаешь... что делать с деньгами?

Надо сказать, что уже за неделю до этого мы все брали в долг и уроков у брата не было.

– Я думаю, – сказал брат, – что деньги вместе с проповедью надо отправить обратно...

– Удивительно, до чего они живучие, эти американцы, – сказала мама, – дядя Арий старше папы на пятнадцать лет и еще до Америки у него была астма... Если он умрет, мы все равно получим наследство...

– Вот поэтому и отправим деньги назад, – ответил брат, – ведь в наших же интересах, чтобы наследство не уменьшалось...

Пятидолларовая бумажка поехала в обратный путь, через Атлантический океан, к дяде Арию. На следующий день мать шепталась с сестрой...

С тех пор я стал преступником. Я день и ночь мечтал о смерти дяди Ария. Легенда об американском наследстве не давала мне покоя. Я видел во сне туго перевязанные пачки кре-

дитных билетов, ящики с золотом и драгоценными камнями. Я думал о том, как буду покупать дорогие выпуски приключений Ника Картера по семи копеек и Ната Пинкертона – по пяти. На прочтение я больше брать не буду. Я мечтал о резиновом «Дьябло» и колесных коньках, выставленных в игрушечном магазине Колпакчи. Я расспрашивал людей, опасная ли болезнь астма и скоро ли от нее умирают. Я жил миражем будущих богатств. И вот однажды, когда на тротуаре, возле ворот, я погонял «бабу», ко мне подбежала Ривка, «мамка» старшего брата, прожившая в нашей семье много лет.

– Иди скорей наверх, – причитала она сквозь слезы, – скорей наверх... мама зовет. Такое несчастье, такое несчастье... дядя Арий умер...

Ривка была добрая женщина, и смерть даже абсолютно незнакомого человека причиняла ей душевное страдание. Словом, наши точки зрения на события в Бостоне в этот день не совпали. Одним духом взмыл я на четвертый этаж.

Наконец-то все, о чем я мечтал, станет действительностью...

– Одевай новый костюм, – сказала мама, – умойся и причешись... Нас вызывают к консулу по делу о получении наследства. У нас большое горе – умер наш дядя Арий.

Когда мы спустились вниз, во дворе было большое оживление. Соседи стояли группами, обсуждая событие и возможный размер состояния дяди. Весть об американском наследстве проникла во все уголки дома.

Мама плыла степенной походкой между нами, отвечая на поклоны.

Как бы то ни было, в утро этого майского дня мы вышли из ворот дома на Базарной улице миллионерами.

Мне казалось, что все прохожие оборачиваются и смотрят на нас и что весь город уже знает о наследстве. Когда мы проходили мимо игрушечного магазина Колпакчи, я увидел в окне резиновое «Дьябло» и колесные коньки. Завтра завеса этого таинственного и недоступного мира должна была упасть. Я куплю еще стальной лук и ружье, стреляющее палочкой с резинкой.

Колпакчи сменили роскошные витрины «Абрикосова с сыновьями», где банки замечательного варенья сверкали драгоценными рубинами, стояли торты, чудо кондитерского и скульптурного искусства, и лежали горы конфет. Через несколько дней все это будет моим, потому что мы будем богаты...

Замечтавшись, я не заметил, как мы подошли к заветной двери американского консульства. Великолепный швейцар впустил нас в приемную. Высокий, выхоленный секретарь, узнав, в чем дело, очень вежливо, на ломаном русском языке просил нас подождать. Какие это были томительные минуты, но что они стоили в сравнении с долгими днями ожидания.

Но вот открылась высокая дубовая дверь, и нас пригласили. Зрелище, которое мы увидели, было ослепительно. Огромный резной письменный стол был уставлен сверкающей бронзой и мрамором. По углам комнаты стояли фигуры рыцарей в железных латах. Наши ноги приросли к полу, и мы остановились посреди комнаты всей семьей. Мама посередине и мы, дети, по бокам. Сам консул стоял, как изваяние, на каком-то возвышении, затянутый в длинный черный сюртук. У него было лицо Авраама Линкольна, и из-под седых бровей смотрели пронизательные серые глаза. За спиной его, во всю стену, висело американское знамя. Ответив на приветствие, консул взял у секретаря бумагу, завернутую в трубку, и развернул ее. Большая сургучная печать на ленте качалась, как маятник. Консул долго читал завещание. Мы не поняли ни одного слова. Окончив чтение, он протянул бумагу секретарю, поклонился и вышел. Секретарь пригласил нас к бюро. Он повернул ключ, и крышка с грохотом повалилась вниз. Он раскрыл какую-то книгу и попросил маму расписаться. Затем секретарь положил на стол пять бумажек по пять долларов и маленькую книжку в синем переплете с золотым крестом.

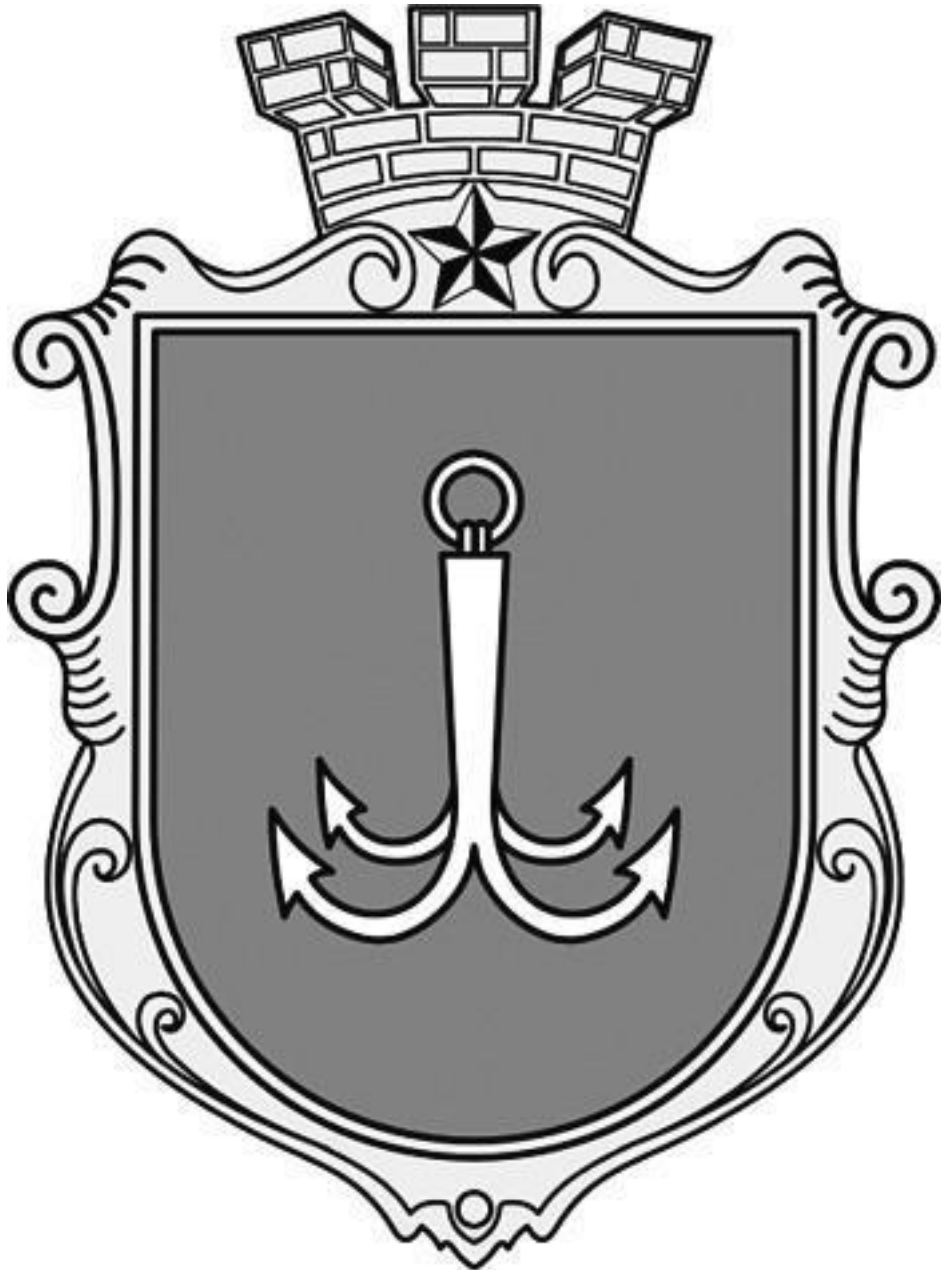
– Как? – только и сказала мама.

– Мистер Гарри Уайтмен, – сказал секретарь, вежливо кланяясь (дядя в Америке переменил фамилию), – оставит все состояния методическа, христианска общин город Бостон. Вас, как очень бедны, он завещал двадцать пять доллар и... библия...

В этот день я понял, что с астмой можно долго жить и что нечего надеяться на американское наследство.

1936

Аркадий Аверченко



Костя Зиберов

I

В Одессе мне пришлось прожить недолго, и все-таки я успел составить об этом городе самое лестное для него мнение. Тамошняя жизнь мне очень понравилась, улицы, бульвары и море привели меня в восхищение, а об одесситах я увез самые лучшие, тихие, дружеские воспоминания.

Костя Зиберов навсегда останется в моей памяти как символ яркого, блещущего, переживающегося разными цветами пятна на тусклом фоне жизни, пятна, рассыпавшегося целым каскадом красивых золотых искр.

Впервые я увидел Костю Зиберова в Александровском парке. Я скромно сидел за столиком, допивая бутылку белого вина и меланхолично, со свойственным петербуржцу мелким скептицизмом посматривая на открытую сцену.

Когда показался Костя Зиберов, он сразу привлек мое внимание. Одет он был в синий пиджак, серые брюки, белый жилет и на груди имел прекрасный лиловый галстук – костюм немного пестрый с точки зрения чопорного франта, но чрезвычайно шедший к смуглому красивому лицу Кости Зиберова. Черные кудри Кости прикрывала элегантная панама, поля которой были спущены и бросали прозрачную темную тень на прекрасные Костины глаза.

Ботинки у него были желтые, с модными тупыми носками.

Костя, легко скользя между занятыми публикой столиками, приблизился к одному свободному, по соседству со мной, сел за него и громко постучал палкой с серебряным набалдашником.

Метрдотель подобострастно склонился над ним.

– Эге! – подумал я. – Этот господин пришел с серьезными намерениями... Я уверен, сейчас появится две-три этуали, и веселый кутеж протянется до утра. Будет от него хозяину нажива.

Действительно, палкой он постучал так громко и заложил ногу за ногу так решительно, будто бы хотел потребовать все самое лучшее, что есть в погребке, в кухне и на сцене.

– Что позволите? – замотал невидимым хвостом метрдотель.

Костя поднял на него рассеянные, томные глаза.

– А? Дайте-ка мне... стакан чаю с лимоном. Только покрепче!

Нигде не умеют с таким толком тратить деньги, как в Одессе. Каждый гривенник тратится там ясно, наглядно, вкусно, с блеском и экстравагантностью, которых петербуржцу никогда не достичь, даже истратив сто рублей.

Бутылка дешевого белого вина, поданная одесситу в серебряном ведре со льдом, и пятиалтынный, врученный за это лакею на чай, произведет всегда более громкое, более потрясающее по своей шикарности впечатление, чем пара бутылок шампанского петербуржца. Потому что петербуржцу неважно, будет ли вино стоять на его столе или на стуле в двух шагах от него, прикрытое до неузнаваемости белой салфеткой, неважно – считают ли это вино принадлежащим ему или его соседу, и неважно – видел ли кто-нибудь, когда он сунул лакею в ладонь два рубля на чай...

С рублем в кармане одессит проведет праздничный день так полно, разнообразно, блестяще и весело, как не приснится жителю другого города и с десятком рублей. С самого утра одессит посидит в кафе, потом пойдет на бульвар послушать музыку и выпить бокал пива, поедет куда-нибудь на Фонтан к знакомым; вернувшись, съест пару бутербродов в Квисисане, а вечером он сидит в парке, пьет свой «стакан чаю, но покрепче» и слушает пение шикарных шансонеток, изредка мелодично подпевая им.

И все это он делает с таким независимым видом, будто он мог бы на Фонтан поехать и в автомобиле, но для курьеза хочет испытать и трамвайную езду... На бульваре он мог бы плотно пообедать с бутылочкой бургондского, но доктора строго-настроено запретили ему излишествовать в пище... И вечером в парке – что стоило бы ему пригласить к своему обильному столу пару певца, но зачем? Все это одно и то же, все это надоело, всем этим он пресытился...

Вид у него – принца, путешествующего инкогнито, колоссально богатого, но который избрал себе, разочаровавшись жизнью, странную забаву: имея в кармане сотенные билеты, тратить пятак и гривенники, иногда торгуясь даже в самых безнадежных случаях.

II

Когда Костя Зиберов потребовал стакан чаю, я, будучи еще мало знаком с одесской жизнью, подумал:

– Вероятно, он стесняется и не хочет устраивать сразу шум и треск, предпочитая начать со скромного стакана чаю...

Но Костя и кончил этим стаканом. Вместе с последним номером программы на сцене Костя допил остатки холодного чаю и опять громко постучал палкой по столу.

– Что прикажете?

– Человек! Счет!

– Один стакан чаю-с. Пятнадцать копеек.

Боюсь, что, если бы Косте подали счет, он подписал бы его. Но счета ему не подали, и он, вынув из кармана двугривенный, с громким звоном бросил его на блюдце.

– Возьмите. Сдачи не надо!

И с развинченными манерами неисправимого кутилы и расточителя, посадившего не одно наследство, Костя вышел из сада.

Расплатившись, ушел и я.

В конке нам пришлось сидеть рядом.

Костя приветливо взглянул на меня и, со свойственной всем южанам общительностью, спросил:

– Далеко изволите ехать?

С такими вопросами обращаются обыкновенно пассажиры поездов, едущие без пересадки дня два-три. Когда предстоит совместный трехдневный путь, интересно познакомиться с соседями и узнать их планы, намерения.

Костя попытался сделать это, хотя мы должны были расстаться через двадцать минут.

– На Преображенскую, – отвечал я.

– Хорошая улица. Прекрасная... Мне хотя нужно через две улицы слезать, но я провожу вас до Преображенской. Кстати, зайду в Квисисану закусить... Вы приезжий?

Как-то случилось, что зашли мы вместе, каким-то образом вышло, что съели мы салат, котлет и выпили две бутылки вина, и еще вышло так, что заплатил я. Правда, Костя очень горячо спорил, желая взять эти расходы на себя, я горячо возражал, но наконец, когда мое упорство было сломлено, я согласился:

– Ну хорошо, сегодня платите вы, а следующий раз я.

Костя тогда сказал, добродушно пожав плечами:

– Ну ладно. Платите вы, если уж так хотите. А следующий раз заплачу уж я.

Когда мы вышли, Костя, держа меня под руку, восхищенно говорил:

– Так ты, значит, петербуржец... Вот оно что. Очень рад! Я все собирался в Петербург, да все как-то не мог собраться. Хочешь, приеду теперь, а?

– Приезжай, – согласился я.

– Право, приеду. Все-таки свой человек теперь есть в столице.

III

Я думал, что Костя Зиберов говорил о своем приезде в Петербург просто так, чтобы сказать мне что-нибудь приятное и удовлетворить палящую ненасытную жажду общительности и дружелюбия. Так, один господин из Кишинева, встретив меня случайно в Петербурге и познакомившись, пригласил к себе в Кишинев «денька на два». И он знал прекрасно, что никогда я к нему не приеду, и все-таки приглашал, а я был твердо уверен, что нет такой силы, которая

повлекла бы меня за тысячи верст к еле знакомому человеку «денька на два», – и все-таки я обещал. Впрочем, сейчас же мы оба и забыли об этом.

Но Костя Зиберов сдержал свое обещание: он приехал в Петербург.

Никогда я не видел интереснее, забавнее и курьезнее зрелища, чем Костя Зиберов в Петербурге.

Среди горячий, сверкающей декоративной природы юга Костя Зиберов был красив, уместен и законен со своим ярким, живописным костюмом, размашистыми жестами, неожиданными оборотами языка и болезненным влечением к знакомству и дружбе. В Петербурге он казался сверкающим павлином среди скромных серых воробьев. Все пугались его яркости, стремительности, дружелюбия и шумливости...

Он поселился у меня.

В первый день мы пошли обедать в один из ближайших ресторанов и произвели там фурор... Блестящий костюм Кости, его походка разочарованного миллионера и властный стук палкой по столу собрали у нашего стола целую группу: двух метрдотелей, мальчишку и четырех лакеев.

– Что изволите приказать, ваше сиятельство?

Его сиятельство с брезгливой миной взял карточку, скептически взглянул на нее и проворчал:

– Воображаю... Чем вы тут накормите!..

– Помилуйте-с... Все оставались довольны...

– Да... знаем мы... Все вы так говорите! Он наклонился ко мне и шепнул:

– Нам хватит на обед и вино? Я, признаться, не при деньгах.

– Не беспокойся, – улыбнулся я. – Распожайся.

Костя оживился и сразу дал почувствовать метрдотелю, что с ним нужно держать ухо востро и накормить нас нужно по-княжески.

Он забросал метрдотеля самыми необычными названиями вин, ошеломил его какими-то тефтелями, «которые у вас, наверное, делают черт знает как!» и, успокоившись немного, обратился ко мне:

– С кем это ты сейчас раскланялся?

– Это скульптор. Князь Трубецкой.

– Как?! И ты говоришь об этом так спокойно? Ты с ним знаком?

– Да, – сказал я. – Знаком. А что?

– Чего же ты молчал все время? – ахнул Зиберов. – Вот чудак! Приехал в Одессу и молчит.

– А чего ж мне. Не бродить же мне было с утра до вечера по одесским улицам, кричать до хрипоты: «А я знаком с князем Паоло Трубецким!»

Тут же я вспомнил, как Костя прожужжал мне уши тем, что он знаком с известным борцом – каким-то Кара-Меметом, и даже как-то, расщедрившись, дал мне благосклонное обещание познакомить меня с ним.

Известность его прельщала. Чья-нибудь слава туманила ему голову, и знакомство с популярным человеком доставляло ему вакхическую радость.

Пришлось познакомить его и с Трубецким.

Разговор их чрезвычайно меня позабавил.

– Так вы, значит, и есть тот самый Трубецкой? – лихорадочно спросил Костя.

– Тот самый и есть, – улыбнулся князь.

– А я представлял вас совсем другим. Думал – вы с большой бородой.

– Напрасно!

– Ну, что – трудно, вообще, лепить?

– Сушие пухляки. Привычка, и больше ничего.

В этом месте Косте Зиберову захотелось сказать князю что-нибудь приятное.
– Отчего вы никогда не приедете в Одессу?
– А что?
– Помилуйте! Прекрасный город! Море, вообще, суша... Вас бы там встретили по-царски. Помилуйте – князь Трубецкой!
– Мерсі, – скромно поклонился князь.
– Да чего там! Конечно, приезжайте. Прямо ко мне... У меня можете и остановиться.
– К сожалению, я не знаю – что же я там буду делать?
– Господи! Мало ли... Право, приезжайте. Беру с вас слово... Стаканчик вина можно вам предложить? Я так рад, право...
Глаза Кости затуманились. Наступал тот психологический момент, когда Костя должен был предложить князю выпить с ним на «ты».

IV

Вечером Костя изъявил желание повеселиться, и я повез его в летний «Буфф».
У кассы театра я остановился.
– Зачем? – удивился Костя.
– Билеты взять!
– Вот чепуха! С какой стати платить. Нам и так дадут места.
– Да с какой же стати...
Костя властно взял меня под руку.
– Пойдем!
Он вел меня, глядя рассеянно, задумчиво прямо перед собою.
У входа человек нерешительно остановил его:
– Ваши билеты, господа!
Костя очнулся, вышел из задумчивости, обернул к привратнику изумленно-оскорбленное лицо и процедил сквозь зубы, с непередаваемым выражением презрения, сказавшим его красивое лицо:
– Бол-ван!
– Извините-с, – засуетился привратник. – Я не знал... Пожалуйста! Программку не прикажете ли?
В саду Костя быстро ориентировался. Он повлек меня за кулисы, отыскал какого-то режиссера или управляющего и потребовал:
– Два места в партере поближе.
– Для кого?
– Как, – изумился Костя, указывая на меня. – Вы его не знаете? Этого человека не знаете?! Полноте! Вы должны бы дать ему два постоянных места, а не спрашивать – для кого? Вы только и держитесь прессой, пресса создает вам успех, а вы спрашиваете – для кого?
Через пять минут мы сидели в креслах третьего ряда.
Первое действие Костя просмотрел с пренебрежительной гримасой, мрачно, а в середине второго действия возмутился.
– Черт знает что! – громко воскликнул он. – Какую дрянь преподносят публике... Только деньги даром берут.
– Замолчи, – прошептал я. – Ну чего там...
– Не замолчу я! Хор отвратительный, режиссерская часть хромает, и певицы безголодые... Да у нас бы в Одессе пяти минут не прожила такая оперетка!
В третьем акте Костя выразил еще более недвусмысленное неудовольствие и даже попытался намекнуть, что мы можем потребовать возврата напрасно брошенных денег.

– Да ведь мы не платили, – возразил я.

– Мало что – не платили... Так они этим и пользуются?

Зрители после Костиной критики, вероятно, нашли, что никогда им не случилось видеть более шикарного, изысканного посетителя, чем Костя...

* * *

Прожил Костя у меня неделю. Денег у меня он брал мало – на самое необходимое – и тратил их с таким вкусом, что все относились к нему подобострастно и почтительно, а на меня не обращали никакого внимания... Он был так ослепителен, что я все время являлся серым, однотонным контрастом ему.

Уезжая, взял у меня на дорогу.

– Были деньги, – небрежно улыбнулся он своими прекрасными губами, – да вчера как раз просвистел их все в «Аквариуме». Безобразие, в сущности. Посмотри-ка, счет какой!..

Он вынул из кармана измятый счет и показал итог: 242 р. 40 к.

Меня удивило, что отдельные строчки, когда я бросил на счет быстрый взгляд, были такого содержания:

Шницель по гамбург. – 1 р.

Водка и бутер. – 70 к.

Папирос. – 20 к.

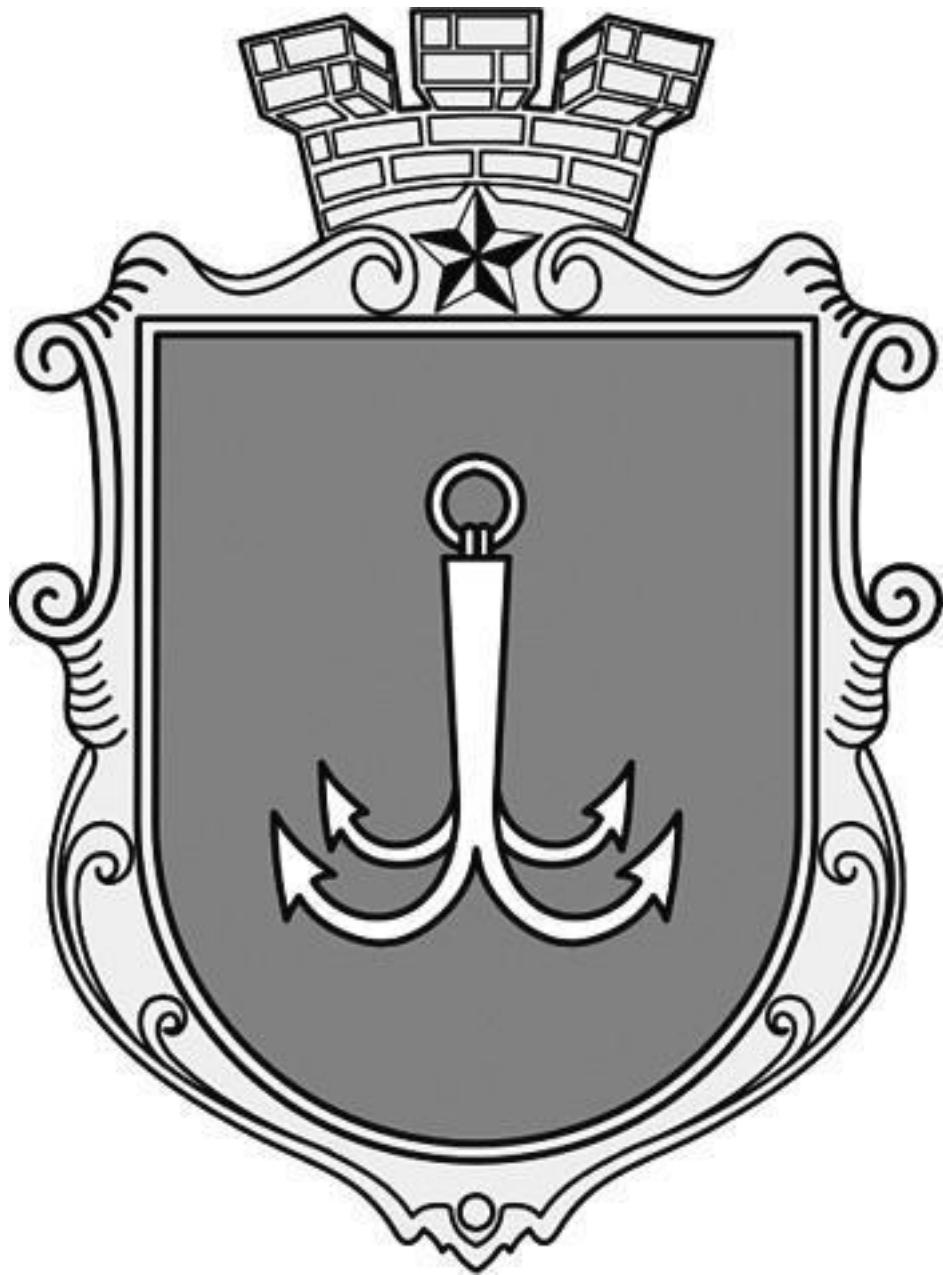
Сифон. – 50 к.

И, кроме того, мне показалось, что первые две цифры итога – 242 р. 40 к. – были написаны более темными чернилами, чем последующие три.

Но я ничего не сказал, сочувственно покачал головой, обнял на прощанье Костю Зиберова, сердечно простился с ним, и он уехал в свою веселую Одессу.

Очень часто вспоминал я Костю Зиберова и, сказать ли правду, частенько скучаю по Косте Зиберове...

Незнакомец (Борис Флит)



Веселая прогулка

I

Кому пришла в голову эта ужасная мысль, трудно сказать, но кто-то из веселой компании молодежи предложил:

– Поедем в Аркадию!..

– Не в Аркадию, а в Аронию, – поправил его другой...

Воскресный день был так прекрасен, весеннее солнце так нежно грело, запахи цветов на улицах звали к морю, к шири и простору, а в городе было так серо и тоскливо, что все соблазнились...

– Но как мы поедem?... В колясках? – спросила артистка.

– Ужасно хохочу по поводу этого наивного предложения, – сказал молодой режиссер. – В колясках? Я предлагаю взять два автомобиля или один аэроплан...

Но это предложение по многим причинам оказалось неприемлемым: для автомобилей не было денег, а для аэроплана не было самого аэроплана.

Несчастливая мысль пришла в голову наивному, как все истинные художники, композитору.

– Поедемте на конке...

– Смеюсь до колик! – сказал режиссер, но, сосчитав свои деньги, согласился: – А ведь, пожалуй, веселее конкой.

Кто-то очень веселый, вероятно, предложил:

– Два удовольствия сразу: до конки мы доедем электрическим трамваем.

Но это не удалось. У станций электрического трамвая, не только у конечных, но и на перекрестных, стояли толпы народу и ждали... очереди... Матери забывали своих детей, жены – мужей, мужа – жен...

Каждый, вскочивши на площадку, забывал о всех остальных, и только издали, с уходящего вагона, матери иногда кричали оставшимся:

– Там остался мой ребенок! Добрые люди, доставьте его на Греческую, 7, кв. 3... Будет выдано приличное вознаграждение...

«...То слезы бедных матерей: Им не забыть своих детей...»

Наконец артистка предложила:

– Знаете что, доедемте до малофонтанской конки на извозчиках...

– Удивительный в Одессе способ передвижения: всюду ездят на дрожжах, а в Одессе на извозчиках. Бедные извозчики, им, должно быть, очень тяжело! – удивился наивный композитор...

Ехали «на извозчиках» и удивлялись:

– Почему это вдруг почти все улицы непроезжими сделались? Всюду уширяют, мостят, всюду разрушение.

Извозчики объяснили:

– А выставка!

Что это значило, трудно сказать, но многие делали догадки, что город нарочно разрыл все улицы, ведущие к выставке... Какое ложное обвинение...

У станции X. аркадийской конки творилось почти то же, что, по уверениям старожил, было при всемирном потопе. Лагерями расположились люди в ожидании конок. Многие спали вповалку, другие стояли посреди улицы и смотрели в подозрную трубу: не идет ли конка. Делились впечатлениями:

– Вы – какую?

– 12-ю жду.

– Счастливчик, а я 19-ю конку пропустил...

– Ползет!..

Публика бросается вперед и с риском для жизни набрасывается на вагон...

А когда вагон подходит к станции, кондуктор заявляет:

– Этот вагон в Аркадию не идет... Слезте!..

Но публика не сходила и кричала в исступлении:

– Везите куда-нибудь!..

А молодой композитор мечтательно декламировал из Байрона:

Пусть мачты в бурю закрипели,
Изорван парус, труден путь!
Я понесусь вперед без цели:
Я должен плыть куда-нибудь!..

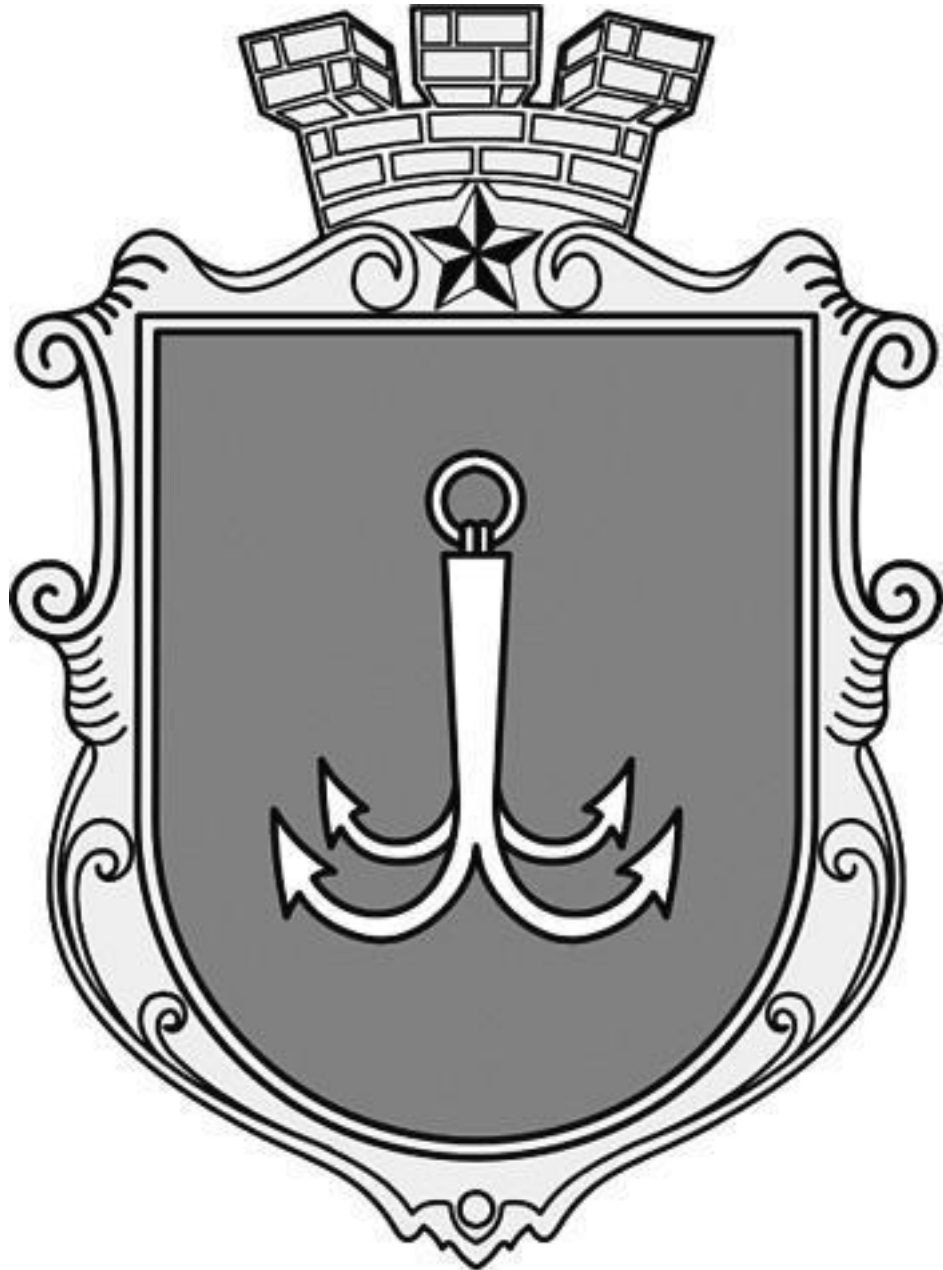
Вагон «несся» со скоростью черепахи, страдающей ревматизмом и полечившейся на одесских лиманах.

II

Из Аркадии выбраться труднее, чем из ада. Извозчиков нет...
Когдаходишь к извозчику и сперва требуешь, потом просишь, умоляешь его:
– Отвези в город!..
Извозчик издевается:
– А чего же вы не наняли туда и обратно? Хитрые вы, господин, 8 рубликов до города...
И если вы уже соглашаетесь на его дьявольские условия, он вдруг заявляет:
– А я занят и не могу ехать!
– Да как же ты, каналья, торговался, если ты занят?...
– А я думал, что вы не дурак и не дадите 8 рублей... А вы дали... Нет, не поеду...
Тогда публика пускается бегом на Малый Фонтан... Там конка... более доступна.
Ждут час, два: нет мест. Скоро уже последние конки...
Остроумные люди предлагают единственный выход:
– До юнкерского дойдем, а оттуда пешком!..
Однако не все соглашаются на такой компромисс... Многие отправляются большими партиями вперед:
– Захватим места, приедем сюда обратно, а отсюда уже в город.
И идут, идут... обыватели по направлению к городу...
Но встречные конки все заняты теми, кто ушел еще дальше и раньше захватил место...
Идут все вперед. Наконец на половине дороги до города совершают нападение на конку и овладевают ею... и едут назад на Малый Фонтан.
Кондуктор, очевидно, знает нравы одесситов, потому что кричит:
– Господа! Платить нужно! Даром не повезут!
Но одесситы рады уплатить еще по гривеннику, лишь бы хотя бы рикошетом добраться до города...
По дороге толпа алчущих!.. Они рыдают, они предлагают полжизни за место, но вагоны полны...
И когда конка подъезжает к Малому Фонтану, она уже полна захватившими места раньше, и публика, ожидающая конку, шлет проклятия року...
Ночью возвращаются домой смельчаки, доехавшие в Аркадию, возвращаются разбитые, усталые, измученные...
– Прогулка была прекрасной, – рассказывают они назавтра своим кредиторам, а втайне надеются: «А ну-ка, рискни и ты! Поезжай! Пострадай!.. Помучайся!.. Будешь ты меня помнить!..»

1910-е

Александр Куприн



Обида

Истинное происшествие

Был июль, пять часов пополудни и страшная жара. Весь каменный огромный город дышал зноем, точно раскаленная печь. Белые стены домов сияли нестерпимо для глаз. Асфальтовые тротуары размягчились и жгли подошвы. Тени от акаций простерлись по плитяной мостовой, жалкие, измученные, и тоже казались горячими. Бледное от солнечных лучей море лежало неподвижно и тяжело, как мертвое. По улицам носилась белая пыль.

В это время в одном из частных театров, в фойе, заканчивала свою Очередную работу небольшая комиссия из местных адвокатов, которая взялась бесплатно вести дела жителей, пострадавших от последнего еврейского погрома. Их было девятнадцать человек, все помощники присяжных поверенных, люди молодые, передовые и добросовестные. Заседание не требовало никакой нарядности, и потому преобладали легкие, пикейные, фланелевые и люстриновые костюмчики. Сидели, где кому пришлось, по двое и по трое, за мраморными столиками, а председатель помещался за пустующим прилавком, где раньше, еще зимой, продавались конфеты.

Зной, лившийся в открытые окна вместе с ослепительным светом и уличным грохотом, совсем изморил молодых адвокатов. Заседание велось лениво и немного раздраженно.

Высокий молодой человек с белыми усами и редкими волосами на голове, председатель собрания, сладострастно мечтал о том, как он поедет сейчас на новом, только что купленном велосипеде на дачу и как он быстро разденется и, еще не остывший, потный, бросится в чистое, благоуханное, прохладное море. При этих мыслях все его тело расслабленно потягивалось и вздрагивало. В то же время, нетерпеливо передвигая перед собою бумаги, он говорил вялым голосом:

– Итак, господа, дело Рубинчика ведет Иосиф Морицович. Может быть, у кого-нибудь есть еще заявления к порядку дня?

Самый младший товарищ-маленький, толстенький, очень черный и очень живой караим – произнес вполголоса, но так, что его все услышали:

– К порядку дня теперь самое лучшее квас со льдом...

Председатель взглянул на него строго, вбок, но сам не мог удержаться от улыбки. Он уже вздохнул и даже положил обе руки на стол, чтобы подняться и объявить заседание закрытым, как театральный сторож, стоявший у дверей, вдруг отделился от них и сказал:

– Ваше благородие... там пришли каких-то семь. Просют впустить.

Председатель нетерпеливо обежал глазами товарищей.

– Господа, как? Послышались голоса:

– К следующему заседанию. Баста.

– Пусть изложат письменно...

– Да ведь, если скоро. Решайте поскорее.

– А ну их! Фу ты, господи, какое пекло!

– Пустите их, – раздраженно кивнул головой председатель. – И потом, пожалуйста, принесите мне нарзану! Только холодного, будьте добры.

Сторож открыл дверь и сказал в коридор:

– Пожалуйте. Разрешили.

И вот в фойе, один за другим, вошло семь самых неожиданных, самых неправдоподобных личностей. Сначала показался некто рослый, самоуверенный, в щегольской сюртучной паре цвета морского песка, в отличном белье – розовом с белыми полосками, с пунцовой розой в петличке. Голова у него, глядя спереди, была похожа формой на стоячий боб, а сбоку – на лежащий. Лицо украшалось крутыми, воинственными толстыми усами и остренькой модной бородкой. На носу темно-синее пенсне, на руках палевые перчатки, в левой руке черная с серебром трость, в правой – голубой носовой платок.

Остальные шестеро производили странное, сумбурное и пестрое впечатление. Точно все они впопыхах перемешали не только одежды, но и руки, и ноги, и головы. Здесь, был человек с великолепным профилем римского сенатора, но облаченный почти в лохмотья. Другой носил на себе франтовской фракный жилет, из-за круглого выреза которого пестрела грязная малорусская рубаша. Здесь были асимметричные лица арестантского типа, но глядевшие с непоколебимой самоуверенностью. И все эти люди, несмотря на видимую молодость, очевидно,

обладали большим житейским опытом, развязностью, задором и каким-то скрытым подозрительным лукавством.

Барин в песочном костюме свободно и ловко поклонился, головой и сказал полувопросительно:

– Господин председатель?

– Да, это я, – ответил тот. – Что вам угодно?

– Мы, вот все, кого вы перед собою видите, – начал барин спокойным тоном и, обернувшись назад, обвел рукой своих компаньонов, – мы являемся делегатами от соединенной Ростовско-Харьковской и Одесса-Николаевской организации воров.

Юристы зашевелились на своих местах. Председатель откинулся назад и вытаращил глаза.

– Организации кого-о? – спросил он врасстяжку.

– Организации воров, – повторил хладнокровно джентльмен в песочном костюме. – Что касается до меня, то мои товарищи сделали мне высокую честь, избрав меня представителем делегации.

– Очень... приятно, – сказал председатель неуверенно.

– Благодарю вас. Все мы семеро суть обыкновенные воры, конечно, разных специальностей. И вот организация уполномочила нас изложить перед вашим почтенным собранием, – джентльмен опять сделал изящный поклон, – нашу почтительную просьбу о помощи.

– Я не понимаю, собственно говоря, какое отношение... – развел руками председатель. – Но, однако, прошу вас, продолжайте.

– Дело, с которым мы имеем смелость и честь обратиться к вам, милостивые государи, – дело очень ясное, очень простое и очень короткое. Оно займет не более шести-семи минут времени, о чем считаю долгом заранее предупредить ввиду позднего времени и тридцати семи градусов, которые показывает Реомюр в тени. – Оратор слегка откашлялся и поглядел на отличные золотые часы. – Видите ли: за последнее время в местных газетах, в отчетах о прискорбных и ужасных днях последнего погрома, довольно часто стали появляться указания на то, что в число погромщиков, науськанных и нанятых полицией, в это отребье общества; состоявшее из пропойц, босяков, сутенеров и окраинных хулиганов, входили также и воры. Сначала мы молчали, но, наконец, сочли себя вынужденными, протестовать пред лицом всего интеллигентного общества против такого несправедливого и тяжкого обвинения. Я хорошо знаю, что с законной точки зрения мы – преступники и враги общества. Но вообразите себе хоть на одно мгновение, господа, положение этого врага общества, когда его обвиняют огулом и за то преступление, которого он не только не совершал, но которому готов противиться всеми силами души. Несомненно, ведь несомненно, что обиду от такой несправедливости он почувствует гораздо острее, чем средний, благополучный, нормальный обыватель. Так вот, мы и заявляем, что обвинение, взведенное на нас, лишено всякой не только фактической, но и логической подкладки. Это я и намерен доказать в двух словах, если почтенное собрание соизволит меня выслушать.

– Говорите, – сказал председатель.

– Просим, просим, – раздалось среди оживившихся адвокатов.

– Приношу вам мою искреннюю благодарность от лица всех наших товарищей. Поверьте, вы никогда не раскаетесь в вашем внимании к представителям нашей, ну, да, скажем, скользкой, но в то же время несчастной и нелегкой профессии. Итак, мы начинаем, как поет Джиральдони в прологе из «Паяцев».

Кстати, я попрошу у господина председателя позволения немного утолить жажду. Сто-рож, принеси-ка мне, братец, лимонаду и рюмку английской горькой! Не буду говорить, милостивые государи, о нравственной стороне нашего ремесла и о его социальном значении. Вам, без сомнения, лучше меня известен удивительный, блестящий парадокс Прудона: «Собственность-это воровство», парадокс, как хотите, а все-таки до сих пор не опрокинутый никакими

причитаниями трусливых мещан и жирных попов. Пример. Отец – энергичный и умный хищник – скопил миллион и оставляет его сыну, рахитическому, бездеятельному и невежественному балбесу, вырождающемуся идиоту, безмозглому червю, истинному паразиту. Миллион рублей – это в потенциале миллион рабочих дней, а стало быть, – право ни с того ни с сего на труд, пот, кровь и жизнь страшной уймы людей. Зачем? За что? Почему? Совсем неизвестно. Итак, господа, отчего же не согласиться с тем положением, что наша профессия является до известной степени как бы поправкой к чрезмерному накоплению ценностей в одних руках, служит протестом против всех тягостей, мерзостей, произвола, насилия, пренебрежения к человеческой личности, против всех этих уродств, порожденных буржуазно-капиталистическим строем современного общества? Социальная революция рано или поздно все равно перевернет этот порядок. Собственность отойдет в область печальных воспоминаний, и тогда – увы! – сами собой исчезнем с лица земного и мы – *les braves chevaliers d'industrie*¹⁸.

Оратор остановился и, взяв из рук подошедшего сторожа поднос, поставил его около себя на столик.

– Виноват. Одну минутку. Получи, братец, и кстати, когда отсюда выйдешь, то притвори за собою покрепче дверь.

– Слушаю, ваше сиятельство! – гаркнул радостно сторож.

Оратор отпил полстакана и продолжал:

– Однако в сторону философскую, экономическую и социальную сторону вопроса. Не желая утруждать вашего внимания, я должен, однако, заявить, что наше занятие очень близко подходит к понятию того, что зовется искусством, потому что в него входят все элементы, составляющие искусство: призвание, вдохновение, фантазия, изобретательность, честолюбие и долгий, тяжкий искус науки. В нем – увы! – отсутствует только добродетель, о которой писал с такой блестящей и пламенной увлекательностью великий Карамзин.

Милостивые государи, я далек от мысли буффонить перед таким почтенным собранием или отнимать у вас драгоценное время бесцельными парадоксами. Но не могу не подтвердить хоть кратко мою мысль. Чужому уху нелепо, дико и смешно слышать о воровском призвании. Однако смею вас уверить, что такое призвание существует. Есть люди, которые, обладая особенной силой зрительной памяти, остротой и меткостью глаза, хладнокровием, ловкостью пальцев и в особенности тонким осязанием, как будто бы специально рождены на свет божий для того, чтобы быть прекрасными шулерами. Ремесло карманного вора требует необыкновенной юркости и подвижности, страшной точности движений, не говоря уже о находчивости, наблюдательности, напряженном внимании. У некоторых есть положительное призвание взламывать денежные кассы: от самого нежного детства их влекут к себе тайны всяческих сложных механизмов: велосипедов, швейных машин, заводных игрушек, часов. Наконец, господа юристы, есть люди с наследственной враждой собственности. Вы называете это явление вырождением – как вам угодно. Но я скажу, что истинного вора, вора по призванию, не переманишь в будни честного прозябания никакими пряниками: ни хорошо обеспеченной службой, ни даровыми деньгами, ни женской любовью. Ибо здесь постоянная прелесть риска, увлекательная пропасть опасности, замирание сердца, буйный трепет жизни, восторг! Вы вооружены покровительством закона, замками, револьверами, телефонами, полицией, войсками, – мы же только ловкостью, хитростью и смелостью. Мы – лисы, а общество – это курятник, охраняемый собаками. Известно ли вам, что в деревнях самые художественные, самые одаренные натуры идут в конокрады и в браконьеры-охотники? Что делать: жизнь до сих пор была так скудна, так плоска, так невыносимо скучна для пылких сердец!

Но я перехожу к вдохновению. Без сомнения, вам, милостивые государи, приходилось читать о сверхъестественных по своему замыслу и выполнению кражах? Их в газетах, в руб-

¹⁸ здесь – крупные авантюристы – *фр.*

рике происшествий, обыкновенно озаглавливают: «грандиозное хищение», или «гениальная мошенническая проделка», или еще «ловкая проделка аферистов». В этих случаях буржуазные отцы семейства разводят руками и восклицают: «Какое печальное явление! Если бы изобретательность этих отщепенцев, их удивительное знание людской психологии, их самообладание и смелость, их несравненные актерские способности, – если бы все это обратить в добрую сторону! Сколько пользы принесли бы эти люди отечеству!» Но давно известно, милостивые государи, что буржуазные отцы семейств созданы творцом небесным для того, чтобы говорить общие места и пошлости. Мне самому иногда приходится... – что ж, сознаюсь, мы, воры, народ сентиментальный, – приходится где-нибудь в Александровском парке или на морском берегу любоваться прекрасным закатом. И я всегда заранее уверен, что кто-нибудь непременно около меня скажет с апломбом: «А вот, поди, нарисуй так художник, – никто никогда не поверит!» Тогда я оборачиваюсь и, конечно, вижу самодовольного, откормленного отца семейства, который, сказав чужую глупость, радуется на свою собственную. Что же касается до любезного отечества, то буржуазный отец семейства смотрит на него, как на жареного индюка: урвал кусок послаще и ешь его потихоньку в укромном месте, и славь бога. Но, собственно, и не в нем дело. Ненависть к пошлости отвлекла меня, и я прошу прощения за лишние слова. Но дело в том, что гений и вдохновение, хотя бы они были обращены и не на пользу православной церкви, все-таки остаются редкими и прекрасными вещами. Все идет вперед, и в воровстве есть свое творчество.

Наконец наше ремесло вовсе не так уж легко и весело, как это кажется с первого взгляда. Оно требует долговременного опыта, постоянных упражнений, медленной и мучительной тренировки. Оно заключает в себе сотни гибких, осторожных приемов, недоступных самому ловкому фокуснику. Но, не желая быть голословным, я, милостивые государи, сейчас произведу перед вами несколько опытов. Прошу вас быть покойными за исполнителей. Все мы в настоящее время находимся на легальной свободе, и хотя за нами, по обыкновению, следят и нас знают наперечет в лицо, и наши фотографии украшают альбомы всех сыскных отделений, но покамест нам нет надобности скрываться ни от кого. Если же впоследствии вы узнаете кого-либо из нас при иных обстоятельствах, то, пожалуйста, мы вас об этом усиленно просим, поступайте всегда сообразно с тем, что вам велят профессиональный долг и обязанности гражданина. Мы же, в благодарность за ваше внимание, решили объявить вашу частную собственность неприкосновенной, облечь ее воровским табу. Однако к делу.

Обернувшись назад, оратор приказал:

– Сысой Великий, прошу.

Огромный сутуловатый малый, с руками по колени, человек без лба и без шеи, похожий на заспанного ярмарочного геркулеса, выдвинулся вперед. Он тупо улыбался и от смущения почесывал левую бровь.

– Та тут нема чога робить, – сказал он сипло.

Но за него заговорил джентльмен в песочном костюме, обращаясь к собранию:

– Милостивые государи. Перед вами один из почтенных членов нашей организации. По специальности он взламыватель сундуков, железных касс и других хранилищ денежных знаков. Иногда при своих вечерних занятиях он пользуется для расплавки металла электрическим током от осветительных проводов. К сожалению, здесь ему не на чем показать лучшие номера своего искусства. Всякую дверь, с самым сложным замком, он отпирает безукоризненно. Кстати, вот эта дверь, должно быть, заперта?

Все обернулись назад к двери, на которой висел печатный плакат: «Вход за кулисы посторонним лицам строго воспрещен».

– Да, эта дверь, по-видимому, заперта, – подтвердил председатель.

– И чудесно. Сысой Великий, будьте любезны.

– Та це ж пустое дило, – сказал великан лениво и пренебрежительно. Он подошел к двери, потряс ее сначала осторожно рукой, потом вытащил из кармана какой-то маленький блестящий инструмент, сделал им, нагнувшись к замку, несколько почти незаметных движений и вдруг, выпрямившись, распахнул дверь быстро и бесшумно. Председатель следил за ним с часами в руках: все дело заняло не более десяти секунд.

– Благодарю вас, Сысой Великий, – сказал вежливо джентльмен в песочном костюме. – Вы можете идти на место.

Но председатель возразил с некоторой тревогой:

– Виноват. Все это интересно и очень поучительно, но... скажите, входит ли в профессию вашего уважаемого коллеги также и искусство затворять двери?

– Ah, mille pardons!¹⁹ – торопливо поклонился джентльмен. – Я упустил это из виду. Сысой Великий, будьте добры...

Дверь была так же ловко и бесшумно заперта. Уважаемый коллега, переваливаясь и усмехаясь, возвратился к своим друзьям.

– Теперь я буду иметь честь показать вам искусство одного нашего товарища, оперирующего по части карманных краж в театрах и на вокзалах, – продолжал оратор. – Он еще чрезвычайно молод, но по его тонкой работе вы можете до известной степени судить о том, что из него выйдет впоследствии при некотором прилежании. Яша!

Смуглый юноша в синей шелковой рубаше и лакированных сапогах, похожий на цыгана, развязно вышел вперед и остановился около оратора, поигрывая кистями пояса и весело щуря большие, с желтыми белками, наглые черные глаза.

Джентльмен в песочном костюме сказал искательно:

– Господа... я принужден попросить... не согласится ли кто-нибудь... подвергнуть себя маленькому опыту. Уверяю вас, что это будет только пример, так сказать, игра...

Он обводил сидящих глазами. Маленький, толстенький черный, как жук, караим вышел из-за своего столика.

– К вашим услугам, – сказал он смешливо.

– Яша! – кивнул головой оратор.

Яша подошел вплотную к адвокату. Теперь на левой, согнутой руке висел у него блестящий, шелковый, узорчатый фуляр.

– Ежели, примерно, в церкви, или, скажем, в буфете в театре, или тоже в цирке... – начал он сладенькой скороговоркой, – сейчас вижу, это идет фрейер... извините, господин, вот хоть бы вы... фрейер – тут ничего нет обидного: просто богатый господин, который приличный и ничего не понимает. Первым делом: какие могут быть предметы? Предметы самые разнообразные. Обыкновенно сначала часы с чепочкой. Опять-таки – где? Некоторые носят в верхнем кармане жилеточки – вот здесь, некоторые в нижнем – вот тут. Портомонет же почти всегда лежит в брючных карманах. Разве уж какой совсем ёлод положит в пиджак. Затем – порцыгар. Натурально, прежде- поглядишь, какой: золотой или серебряный с монограмом, а из кожаного кто же станет мараться, если себя уважаешь? Порцыгар может быть в семи карманах: здесь, здесь, вот здесь, здесь, там и тут. Не так ли-с? Сообразно с тем и оперируешь.

Говоря таким образом, молодой вор улыбался, блеснул глазами прямо в глаза адвокату и быстрыми, ловкими движениями правой руки указывал на разные места в его одежде.

– Опять-таки может обращать внимание и булавочка вот тут-с, в галстучке. Однако мы избегаем присвоять. Теперь такой народ пошел, что редко из мужчин носят настоящие камушки. И вот я подхожу-с. Сейчас обращаюсь по-благовоспитанному: господин, дозволейте прикуриться или еще что-нибудь, одно слово, завожу разговор. Первое дело что? Первым

¹⁹ Ах, тысячу извинений! (*фр.*).

делом гляжу ему прямо в зеньки, вот так, а работают у меня только два пальца: вот этот-с и вот этот-с.

Яша поднял в уровень своего лица два пальца правой руки, указательный и средний, и пошевелил ими.

– Видали? Вот этими двумя пальцами вся музыка и играет. И, главное, ничего тут нет удивительного: раз, два, три – и готово! Всякий неглупый человек может весьма легко выучиться. Вот и все-с. Самое обыкновенное дело. Мое почтение-с.

Вор легко повернулся и пошел было на место.

– Яша! – веско и многозначительно произнес джентльмен в песочном костюме. – Я-ша! – повторил он строго.

Яша остановился. Он был спиной к адвокату, но, должно быть, о чем-то красноречиво упрашивал глазами своего представителя, потому что тот хмурил брови и отрицательно тряс головой.

– Яша! – в третий раз с выражением угрозы произнес он.

– Эх! – крикнул досадливо молодой вор и нехотя повернулся опять лицом к адвокату. – А где же ваши часики-то, господин? – произнес он тонким голосом.

– Ах! – схватился караим.

– Вот видите, теперь – ах! – продолжал Яша укоризненно. – Вы все время на мою правую ручку любовались, а я тем временем ваши часики левой ручкой соперировал-с. Вот именно этими двумя пальчиками. Из-под кашны-с. Для того и кашну носим. А как у вас чепка нестоящая, шнурок, должно быть, на память от какой мамзели, а часики золотые, то я чепку вам оставил в знак предмета памяти. Получайте-с, – прибавил он со вздохом, протягивая часы.

– Однако ловко! – сказал смущенный адвокат. – Я и не заметил.

– Тем торгуем, – заметил Яша с гордостью.

Он развязно возвратился к своим товарищам. Оратор между тем отпил из стакана и продолжал:

– Теперь, милостивые государи, следующий из наших сотрудников покажет вам несколько обыкновенных карточных вольтов, которые в ходу на ярмарках, на пароходах и на железных дорогах. С помощью трех карт, например, дамы, туза и шестерки, он весьма удобно... Впрочем, может быть, господа, вас утомили эти опыты?

– Нет, все это крайне интересно, – любезно ответил председатель. – Я бы хотел только спросить, – если, конечно, мой вопрос не покажется вам нескромным, – ваша специальность?

– Моя... гм... нет, отчего же нескромность?... Я работаю в больших бриллиантовых магазинах, а другое мое занятие – банки, – со скромной улыбкой ответил оратор. – Нет, вы не думайте, что мое ремесло легче других. Достаточно того, что я знаю четыре европейских языка: немецкий, французский, английский и итальянский, не считая, понятно, польского, малорусского и еврейского. Так как же, господин председатель, производить ли дальнейшую демонстрацию?

Председатель взглянул на часы.

– К сожалению, у нас слишком мало времени, – сказал он. – Не перейти ли нам лучше к самой сути вашего дела? Тем более что опыты, которых мы были только что свидетелями, в достаточной мере убеждают нас в ловкости ваших почтенных сочленов. Не правда ли, Исаак Абрамович?

– О да, совершенно! – подтвердил с готовностью адвокат-караим...

– И прекрасно, – любезно согласился джентльмен в песочном костюме. – Графчик, – обратился он к курчавому блондину, похожему на маркера в праздник, – спрячьте вашу машинку, она не нужна больше. Мне осталось, господа, всего несколько слов. Теперь, когда вы удостоверились в том, что наше искусство хотя и не пользуется просвещенным покровительством высокопоставленных особ, но оно все-таки – искусство; когда вы, может быть, согласи-

лись со мною, что это искусство требует многих личных качеств, кроме постоянного труда, опасностей и неприятных недоразумений, – вы, надеюсь, поверите также, что к нашему искусству можно пристраститься и – как это ни странно с первого взгляда – любить и уважать его. Теперь представьте себе, что вдруг известному, талантливому поэту, легенды и поэмы которого украшают лучшие наши журналы, вдруг ему предлагают написать в стихах, по три копейки за строчку и притом за полной подписью, рекламу для папирос «Жасмин»? Или кого-нибудь из вас, блестящих и знаменитых адвокатов, вдруг оклеветали в том, что вы промышляете лже-свидетельством по бракоразводным делам, или пишете в кабаках прошения к градоначальнику для извозчиков? Конечно, ваши родные, друзья и знакомые не поверят этому, но слух уже отравил вас, и вы переживаете мучительные минуты. А теперь представьте себе, что такая позорная, неизвестно кем пущенная клевета грозит не только вашему доброму имени и спокойному пищеварению, но угрожает вашей свободе, вашему здоровью, даже вашей жизни?

В таком именно положении находимся мы, оклеветанные газетами воры. Я должен оговориться. Существует категория прохвостов – *passez moi le mot*²⁰, – которых мы называем маменькиными сынками и с которыми нас – увь! – смешивают. Это люди без стыда и без совести, промотавшаяся шушера, именно маменькины оболтусы, ленивые и неуклюжие дармоеды, неумело проворовавшиеся приказчики. Ему ничего не стоит жить на счет своей любовницы-проститутки, подобно самцу рыбы макрели, которая плавает за самкой и питается ее извержениями; он способен обобрать и обидеть ребенка в темном переулке, чтобы отнять у него три копейки; он убьет спящего и будет пытаться старуху. Эти люди – язва нашего ремесла. Для них не существует ни прелестей, ни традиции искусства. Они следят за нами, за настоящими, ловкими ворами, как шакалы за львом. Положим, мне удалось сделать большое дело. Не говоря уже о том, что при продаже вещей или при промене билетов я оставляю в руках ростовщиков до двух третей всей суммы, не говоря даже об обычных подачках неподкупной полиции, – я должен еще уделить некоторую часть каждому с из этих паразитов, который хоть мельком, случайно, понаслышке знает о моем деле. Мы их так и называем: мотиенты, от слова «мотья», что значит – половина, испорченное *moitie*... своеобразная филология. Я даю только за то, что он знает и может донести. И чаще всего бывает так, что, воспользовавшись своей частью, он все-таки мгновенно бежит в полицию и доносит на меня, чтобы заработать еще пять рублей. Мы, честные воры... да, да, смейтесь, господа, я все-таки говорю: мы, честные воры, презираем этих гадов. У нас есть для них еще одна кличка, позорная, как клеймо, но я не смею ее выговорить здесь из уважения к месту и людям. О да, они услужливо примут приглашение идти на погром; но одна мысль о том, что нас могут смешать с ними, в сто раз обиднее для нас, чем самое обвинение в погроме.

Милостивые государи! До сих пор, пока я говорил, я часто замечал на ваших лицах улыбки. Я понимаю вас: наше присутствие здесь, наше обращение к вашей помощи, наконец самая неожиданность такого явления, как систематическая воровская организация, с делегатами-ворами и уполномоченным от делегации – вором-профессионалом, все это настолько оригинально, что не может не вызвать улыбки. Но теперь я буду говорить от глубины моего сердца. Сбросимте, господа, внешние оболочки. Люди говорят к людям.

Почти все мы грамотны и все любим чтение и читаем не только «Похождения Рокамболя», как пишут о нас наши бытописатели. Или, вы думаете, у нас не обливалось кровью сердце и не горели щеки, как от пощечин, от стыда за все время этой несчастной, позорной, проклятой, подлой войны? И неужели вы думаете, что у нас не пылают души от гнева, когда нашу родину полосуют нагайками, топчут каблуками, расстреливают и плюют на нее дикие, остервенелые люди? Неужели вы не поверите тому, что мы – воры – с трепетом восторга встречаем каждый шаг грядущего освобождения?

²⁰ Простите мне это слово (*фр.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.